

Русская речь

Научно-популярный журнал
Института русского языка Академии наук СССР
Основан в 1967 году. Выходит 6 раз в год
Издательство «Наука». Москва

№ 5 1971 сентябрь — октябрь

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| С. В. Белов. О художественном мастерстве Ф. М. Достоевского | 3 |
| В. П. Ковалев. Вставные конструкции | 11 |
| А. А. Илюшин. Словообразовательные синонимы | 18 |
| Г. В. Краснов. «По словечку...» | 26 |
| Валентин Дмитриев. Эзоповский язык | 33 |

ВЫДАЮЩИЕСЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКОВЕДЫ

| | |
|------------------------------------------------------|----|
| Ф. П. Филин. Александр Афанасьевич Потебня | 40 |
|------------------------------------------------------|----|

КУЛЬТУРА РЕЧИ

| | |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Е. А. Левашов. Ростовчане, псковичи, кокчетавцы | 49 |
| В. С. Филиппов. Дуннада? | 56 |
| П. В. Веселов. Служебный телефонный разговор | 58 |
| А. В. Барандеев. Трайлер или трейлер? | 64 |

НОВЫЕ СЛОВА

| | |
|------------------------------------------------------|----|
| Г. И. Миськевич. Селенография, селенология | 67 |
|------------------------------------------------------|----|

ШКОЛА

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| И. А. Фигуровский. Если ваш ребенок отстает по русскому языку... | 75 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|

ГРАММАТИКА

В. И. Максимов. Велика ли глыба? 80

ИЗ ИСТОРИИ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ

И. Г. Добродомов. Книга 83
А. М. Сабенина. Толмач и переводчик 91
О. Д. Кузнецова. Задира, забияка 96

ПО КАРТЕ РОССИИ

А. К. Матвеев. Онега, Пинега : 99
В. Б. Сорокин. Куда Макар телят гонял? 104

ИСТОРИЯ ПИСЬМА

И. С. Филиппова. Русская скоропись 108
Г. В. Судаков. Как учились грамоте в XVII веке 122

ВВЕДЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИЕ

В. И. Абаев. Языкознание — общественная наука 129

КОНСУЛЬТАЦИИ

Словарь произношения и ударения 130
Народные названия рыб 132

ПРОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ

Вячеслав Панькин. Саша и Петушок 134

ПОЧТА «РУССКОЙ РЕЧИ»

136

*На обложке: Ф. М. Достоевский
Гравюра Ю. И. Космынина*

*При перепечатке
ссылка на журнал «Русская речь»
обязательна*

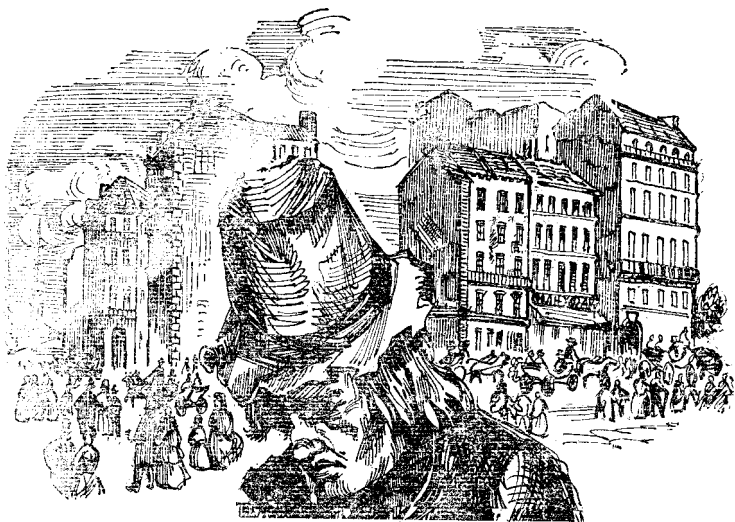


Рисунок Ю. Космынина

О художественном мастерстве Ф. М. Достоевского

Язык у Достоевского служит могучей творческой мысли, которая без особых видимых усилий укладывает в свой стиль обычный, будничныи материал человеческой речи. Лишь в минуты особого просветления в монологах Мышкина, Зосимы, Макара Ивановича, в эпилоге «Преступления и наказания» речь Достоевского льется плавно и ровно. Как правило, она психологически неустойчива, логически зыблема, нервна и прерывиста. Отсюда масса предположений, оговорок, уступительных предложений, все эти ограничивающие: впрочем, как будто, как-то, хотя. Однако ритм Достоевского, как горная лавина, преодолевает «ограничения — препятствия», подчиняя себе язык и стиль и придавая им особую силу. Достаточно открыть первую страницу «романов-трагедий» Достоевского, как невольно и незаметно втягиваешься в его стремительный ритм, ни с чем не сравнимый в мировой литературе, тот самый ритм, благодаря которому писатель создал новую

геометрию искусства, дополнив эвклидовский трехмерный мир четвертым измерением — духовностью.

И не в этом ли разгадка слов А. Эйнштейна: «Достоевский дал мне больше, чем Гаусс». Недаром Иван Карамазов признается Алеше в своем бессилии выйти за пределы эвклидовского трехмерного мира. Даже когда Достоевский стремится изобразить самое бездуховное, телесное, например «изгиб тела» Грушеньки, о котором говорит Дмитрий Карамазов, то все равно результат оказывается обратным: это скорее не изгиб тела, а изгиб души Грушеньки. Все в мире Достоевского подчиняется открытым им законам духовности. Вот почему он один из самых целомудреннейших писателей. Отправляясь от самого что ни на есть бумажного, чиновничьего, будничного, серого языка, Достоевский сумел внести в него свою духовную стихию, свое четвертое измерение. Даже в мертвый, избитый, пошлый слово-ер-с писатель внес какой-то элемент духовности, и теперь уже невозможно представить без слова-ер-с ответ Порфирия Петровича на вопрос Раскольниковова: «Так...кто же...убил?» — «Вы и убили-с». Только Достоевский мог написать здесь слово-ер-с, и уже одно это делает его тонким стилистом. Интересно, что слово-ер-с встречается обычно у Достоевского в речи приживальщиков и шутов, а употребление его Порфирием Петровичем объясняется и тем, что он нередко излагает свои мысли в своеобразной «шутовской» манере, с непрерывными ухмылками и хихиканьем. Но вообще мертвых слов, являющихся в речи бессмысленными языковыми штампами, у Достоевского довольно мало. Его герои настолько духовны, что обычные языковые шаблоны у них отсутствуют.

Язык и стиль Достоевского поражают естественностью и непосредственностью, хотя это давалось ему совсем нелегко. Есть одно поразительное место в черновых записях Достоевского, проливающее свет на языковую и стилистическую лабораторию писателя, на преднамеренность его творчества. Достоевский предполагал начать новый роман «Житие великого грешника» рассказом «Жития»: «хоть и от автора, но сжато, не скупясь на изъяснения, но и представляя сценами. Тут надо гармонию»; и далее: «Сухость рассказа иногда до Жиль-Блаза. На эффектных и сценических местах — как бы вовсе этим нечего дорожить». Очень важное место, если учесть, что несколькими строчками раньше Достоевский записал: «1. Первые страницы 1) Тон, 2) втиснуть мысли художе-

ственно и сжато». «Но и владычествующая идея жития чтоб видна была, — продолжает Достоевский, — то есть хотя и не объяснять словами всю владычествующую идею и всегда оставлять ее в загадке, но чтоб читатель всегда видел, что идея эта благочестива, что житие — вещь до того важная, что стоило начинать даже с ребяческих лет. — Тоже — подбором того, об чем пойдет рассказ, всех фактов, как бы непрерывно выставляется (что-то) и непрерывно поставляется на вид и па пьедестал будущий человек». И на том же листе сверху запись, в которой выявился весь Достоевский, все его требования к содержанию и к стилю: «Чтоб в каждой строчке было слышно: я знаю, что я пишу и не напрасно пишу» («Документы по истории литературы и общественности». Вып. 1. Ф. М. Достоевский. М., 1922). Задание, которое дал себе писатель, приступая к написанию «Жития великого грешника», по существу относится ко всем его романам.

Герои Достоевского характеризуются словесно, но языковой портрет человека из подполья — самый выразительный. Достоевский успешно справился с задачей показать раздвоение героя «Записок из подполья», используя для этого ряд стилистических приемов: неблагообразие слога подпольного человека, дисгармонию синтаксиса, раздражающую прерывистость речи, но прежде всего и главным образом контраст между внешней и внутренней формой исповеди героя. После первой же фразы «Я человек большой» следует многоточие и оглядка на читателя: как бы читатель вдруг не высказал жалость и сострадание; поэтому сразу же за первой фразой следует вторая, которая уже никак не может вызвать ни жалости, ни сострадания: «Я злой человек. Непривлекательный я человек». В каждой фразе первой части «Записок из подполья» ведется страстная полемика с воображаемым противником, монолог героя превращается в своеобразный диалог, и тем самым создается полное впечатление роковой раздвоенности человеческого сознания, трагедия личности человека из подполья.

На разнообразных стилистических и языковых эффектах построены «Бесы». Пожалуй, ни в одном из романов Достоевский не достигает такого мастерства, как в языковой характеристике персонажей «Бесов». Даже перед смертью Степан Трофимович остался верен своим изящным каламбурам и французско-русской речи; фанатик Кириллов определяется какой-то странной, не совсем пра-

вильной грамматически речью (он и сам «отпал» от людей); в «Исповеди Ставрогина» целомудренной форме Тихона противопоставляется словесная неряшливость и бесформенность Ставрогина (недаром Тихон просит его сделать в «Исповеди» исправления «немного бы в слог»); Шигалев несет на себе мертвый груз псевдонаучного жаргона; Петр Верховенский скользит по «верхам» своеобразного «нигилистического» стиля. У каждого героя Достоевского свой, сугубо индивидуальный язык, но все они говорят на «одном» языке, на языке четвертого измерения. Именно в этом и состоит кажущаяся на первый взгляд «одинаковость» языка героев Достоевского.

Стиль каждого большого художника — нечто единое целое, законченная система, где нет ничего случайного: где даже такая незначительная деталь, как повторяющиеся числа «три» и «двенадцать» в «Братьях Карамазовых», имеет значение для раскрытия идейной проблематики романа. Все в стиле Достоевского: и портрет, и пейзаж, и жанр — подчиняется законам четвертого измерения, где перестает действовать земное тяготение. И преодолев земное тяготение, единственный неповторимый ритм Достоевского так прочно захватывает нас, что не сразу обращаешь внимание на детали описания, не сразу оценишь каждую черту в портретной живописи, тщательные «костюмы» действующих лиц. Неудержимый и стремительный ритм идей как бы раздевает эмпирическую плоть героев Достоевского до их метафизической наготы. А между тем Достоевский был тонким и глубоким мастером портрета. Вспомним, например, портрет Кармазинова, вся выразительность которого достигается многократным употреблением уменьшительных слов: «Это был очень невысокий, чопорный старичок, лет, впрочем, не более пятидесяти пяти, с довольно румяным личиком, с густыми седенькими локончиками, выбившимися из-под круглой цилиндрической шляпы и завивавшимися около чистеньких, розовеньких, малюпких ушков его». Или портрет другого героя «Бесов»: «В жизнь мою я не видал в лице человека такой мрачности, нахмуренности и пасмурности... Всего более поразили меня его уши неестественной величины, длинные, широкие и толстые, как-то особенно врозь торчавшие. Движения его были неуклюжи и медленны».

Уже из одного этого описания наружности Шигалева перед нами, как живой, встает упорнейший доктринер и фанатик, который будет шагать через трупы для достижени

для своей цели. Наружность героев Достоевского обычно соответствует их «идее». Правда, «заданность» наружности не означает «заданности» характеров, которые построены иррационально, поэтому понять, например, почему Смердяков брезглив, совершенно невозможно. Вспомним также Федора Павловича Карамазова с его «физиономией древнего римского патриция времен упадка» или Шатова, о наружности которого Достоевский сам неслучайно замечает: «наружностью Шатов вполне соответствовал своим убеждениям». А изображая Кириллова, Достоевский, как бы мимоходом, бросает одну маленькую, казалось бы, совсем незначительную деталь: его глаза были «без блеска». Но ведь в этой же детали весь Кириллов — человек с тайной, человек с «неподвижной идеей».

Глаза играют особую роль в портрете Достоевского. У Федьки Каторжного в «Бесах» «глаза были большие, непременно черные, с сильным блеском и с желтым отливом, как у цыган». Это «непременно» будто нечаянно вырвалось у Достоевского, но без него уже совершенно невозможно представить глаза Федьки Каторжного, и теперь мы не только зрительно, но и физиологически ощущаем облик героя. Казалось бы, незначительное добавление к глазам Ставрогина: «светлые глаза его были что-то уж очень спокойны и ясны», но в этом «что-то уж очень» весь Ставрогин, лицо которого «напоминает маску». Помещик Максимов в «Братьях Карамазовых», в глазах которого «было что-то лупоглазое»; глаза старца Зосимы «небольшие, из светлых, быстрые и блестящие, вроде как бы две блестящие точки»; горящие глаза Рогожина, которые внезапно увидел Мышкин под воротами гостиницы; глаза самого Мышкина «большие, голубые и пристальные; во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падающую болезнь»; глаза второй супруги Федора Павловича Карамазова, которые собственно и прельстили старого «сладогострастника»: «меня эти невинные глазки как бритвой тогда по душе полоснули».

Получается своеобразный «ритм глаз» в стиле Достоевского, и можно, кажется, написать специальную работу на тему «Глаза героев Достоевского», ибо глаза — непременимый атрибут их духовного облика и по глазам можно узнать их «идею».

Портрет Раскольникова: «Кстати, был он замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темнорус,

ростом выше среднего, тонок и строен». Интересно здесь «кстати». Достоевский будто извиняется перед читателем за то, что чуть не забыл дать портрет героя. В мире идей Достоевского портрет не играет значительной роли, но он никогда не бывает случайным, всегда служит для раскрытия главной идеи героя. Таков и портрет Раскольникова. Однако мы не сразу замечаем его, хотя он дан в самом начале, на второй странице романа. Но Достоевский уже успел заинтриговать нас, втянуть в ритм своего четвертого измерения — ведь до портрета Раскольникова следуют его загадочные мысли, полные тайного очарования: «На какое дело хочу покуситься и в то же время каких пустяков боюсь! — подумал он с странною улыбкой... Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на это?». Нет ничего странного в том, что после такого текста мы можем не обратить внимания на портрет Раскольникова. Но только тогда, когда мы узнаем, что Раскольников задумал убийство, мы поймем, что он неслучайно «был замечательно хорош собою». Мечтатель, романтик — и вынашивает грязную мысль об убийстве и грабеже. Преступление героя, отвратительное и низкое, резко контрастирует с его благородной внешностью (кстати, в этом и залог его воскресения).

Раскольников так же двойствен, как породивший его Петербург, и весь роман посвящен разгадке этой двойственности Раскольникова — Петербурга. Самый фантастический на свете город порождает самого фантастического героя. В мире Достоевского место, обстановка, природа неразрывно связаны с героями, составляют единое целое. Только в мрачном и таинственном Петербурге могла зародиться «безобразная мечта» нищего студента, и Петербург здесь не просто место действия, не просто образ: Петербург — участник преступления Раскольникова. На протяжении всего романа лишь несколько кратких описаний города, напоминающих театральные ремарки, но их вполне достаточно, чтобы проникнуть в «духовный» пейзаж, чтобы почувствовать «Петербург Достоевского».

Другой пример одухотворения материи — жилища героев Достоевского. Уже много раз отмечали мрачный кабинет терзаемого страстями Рогожина с копией гольбейновского Христа на стене, но столь же незабываема и комната, в которой повесился Кириллов. Даже Петр Степанович Верховенский «вздрогнул», когда вошел к Кириллову: «комната была непроходная, глухая и убежать было некуда». И, наоборот, комната Марьи Тимофеевны Лебяд

киной была столь же просторна и бесхитростна, как и ее детская душа: «Комната Марьи Тимофеевны была вдвое более той, которую занимал капитан, и меблирована такую же топорною мебелью; но стол пред диваном был накрыт цветною нарядною скатертью; на нем горела лампа; по всему полу был разостлан прекрасный ковер; кровать была отделена длинною, во всю комнату, зеленою занавесью, и, кроме того, у стола находилось одно большое мягкое кресло, в которое, однако, Марья Тимофеевна не садилась. В углах, как и в прежней квартире, помещался образ, с зажженною пред ним лампадкой, а на столе разложены были все те же необходимые вещицы: колода карт, зеркальце, песенник, даже сдобная булочка» (как будто вся Марья Тимофеевна в этой «сдобной булочке!»).

«Желтая каморка» Раскольникова, отъединившегося от мира: «Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид с своими желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стен обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и все казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок». «Желтая каморка», которую Достоевский сравнивает с гробом, противопоставляется комнате Сони: у Раскольникова, закрытого от мира, — тесный гроб; у Сони, открытой миру, — «большая комната с тремя окнами». Жилища героев Достоевского не имеют самостоятельного существования, они лишь одна из функций созвония героев.

Это относится и к описанию Достоевским природы, пейзажа. Мир, окружающий человека, всегда дается как часть души этого человека, становится как бы внутренним пейзажем человеческой души, в большой степени определяет человеческие поступки. «Я люблю, — говорит Раскольников, — как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица; или, еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру, знаете? а сквозь него фонари с газом блистают...».

Вспомним первые главы «Униженных и оскорбленных», морозный, туманный Петербург, Вознесенский проспект, старого Иеремию Смида и его собаку Азорку. В этих немногих страницах уже дана та тайна Петербурга, которую потом лишь пытались разгадать А. Блок, А. Белый, А. Ремизов. В мрачном и загадочном, дымном и морозном Петербурге, в чердачной комнате, похожей на сун-

дук, жил Иеремия Сидт. И этот Петербург, обрекавший на жуткое и тоскливое одиночество, стал его душевным пейзажем, в нем действенным, его побуждающим. В первый раз, когда мы читаем о мрачном доме Рогожина на Гороховой в романе «Идиот», мы уже чувствуем, даже физиологически ощущаем, что он связан с каким-то преступлением, бывшим или будущим; своей мрачной молчаливостью дом как бы заранее обрекает человека, живущего в нем, на преступление, он один из пособников преступления. Парк и пруд в Скворешниках в «Бесах» также заранее предназначены для убийства. Внешний мир или совсем не существует у Достоевского, или, если существует, то является пособником и сообщником человека.

Все описания природы в мире Достоевского связаны с человеком. Природа и люди сливаются в одном настроении. Таков обычный тон Достоевского, в который солнце редко бросает свои яркие лучи. Но эти редкие лучи играют особую роль в символике природы, солнце всегда у Достоевского — символ «живой жизни», символ воскресения героя. Раскольников входит в комнату старухи, ярко освещенную заходящим солнцем. В его воспаленном уме мелькает страшная мысль: «И тогда, стало быть, так же будет солнце светить!». В ужасе Раскольникова перед солнцем уже заключается предчувствие гибели, но гибели его мертворожденной теории, и в то же время предчувствие воскресения — воскресения души. И в эпилоге романа, когда Раскольникова воскресила любовь Сони, он услышал песню «в облитой солнцем необозримой степи», где «была свобода и жили другие люди, совсем непохожие на здешних». Поразительно проникновенные слова о солнце как о символе и воплощении жизни говорит Дмитрий Карамазов: «В тысяче мук — я есмь, в пытке корчусь, — но есмь! В столпе сижу, но и я существую, солнце вижу, а не вижу солнца, то знаю, что оно есть. А знать, что есть солнце — это уже вся жизнь».

Так стиль Достоевского поднимается до глубоких духовных символов, и в этой духовности тайна очарования, неповторимости и притягательности языка и стиля Достоевского и ключ к их разгадке.

С. В. БЕЛОВ
Ленинград

ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ



В числе особенностей, характеризующих стиль Достоевского в синтаксическом и пунктуационном отношении, обращают на себя внимание вводные и вставные конструкции. Ни один из русских писателей — его предшественников, современников, а также авторов, писавших после него, — не прибегал так часто в своих произведениях к этим синтаксическим единицам речи.

Достоевский использовал вводные и вставные конструкции, которые обычно трактуются в грамматиках как слова

или предложения, грамматически не связанные с контекстом и служащие для выражения модальности или являющиеся дополнительными замечаниями.

Однако особенно часто он употреблял в качестве вставных такие синтаксические единицы, которые выступают в речи прежде всего в обычных грамматических связях со словами основного контекста: «Затем Раскольников передал (довольно сухо) разговор свой со Свидригайловым»; «Лизавета была младшая, сводная (от разных матерей) сестра старухи»; «Убив ее, положил взять у ней ровно столько, сколько мне надо для первого шага, и ни больше ни меньше (а остальное, стало быть, так и пошло бы на монастырь, по духовному завещанию — ха-ха!)...»; «Собственно до всех этих учений, мыслей, систем (с которыми Андрей Семенович так на него пакинулся) ему никакого не было дела» (Преступление и наказание).

Грамматические (и соответственно — смысловые) связи синтаксических единиц с членами основного контекста в таком употреблении не исчезают, но ослабляются, совмещающая в себе свойства членов предложения или предложений и вставных выражений.

На сущность таких синтаксических единиц есть разные точки зрения. В академической «Грамматике русского языка» (М., 1954) все они рассматриваются как вставные, в то время как профессор А. Н. Гвоздев в своем учебнике, в разделе о вставных предложениях, склоняется к тому, что те из них, которые связываются с контекстом подчинительными союзами, лишь «сближаются с вставными предложениями», оставаясь все же предложениями придаточными (Современный русский литературный язык. М., 1948). Значение дополнительного замечания, характерное для всех рассматриваемых синтаксических единиц (члены предложения и сочиненные или подчиненные предложения) и объединяющее их собственно вставными конструкциями, позволяет считать первую точку зрения все же более оправданной. Нельзя не учитывать и пунктуационной стороны дела — последовательного употребления при этих выражениях скобок, обычно используемых для выделения вставных конструкций.

Большая близость таких единиц к вставным отчетливо ощущается у Достоевского на фоне его общей склонности к вставным выражениям. Он свободно преобразует во вставные, заключая в скобки, различные члены предложе-

ния и предложения, связанные с контекстом всеми известными видами синтаксической связи.

Так, у него нередки случаи вставного использования элементов, связанных сочинительной связью. Вот, например, такое употребление однородных членов и предложений, формально связанных с основным контекстом сочинительными союзами: «Вопрос (и весь крик) был очень бесплоден» (Вечный муж); «О „рыцаре бедном“ все говорили (и „смеялись“) еще месяц назад» (Идиот); «Я служил, чтоб было что есть (но единственно для этого)» (Записки из подполья); «Вы знаете, мы собрались здесь все вместе совершенно случайно (и я так рада, так этому рада)...» (Дядюшкин сон); «На кровати оставался один только голый, ветхий и масляный тюфяк (престыни же на нем никогда не бывало)» (Господин Прохарчин).

Но чаще всего у Достоевского вставочный характер приобретают единицы, связываемые разными видами подчинительной связи. Встречаются у него «вставные члены предложения», а именно, разного рода обстоятельства: «Он выжил, создал и набросал на бумагу стройный эскиз создания, на котором (по молодости своей) в нетворческие минуты строил самые вещественные надежды» (Хозяйка); «Я пришел (совсем не по-людски) вам обо всем вперед объявить, а все-таки прямо вам говорю (тоже не по-людски), что мне это будет невыгодно» (Преступление и наказание); определения: «Кроме этого (превосходного) дома, пять шестых которого отдавалось внаем, генерал Епанчин имел еще огромный дом на Садовой» (Идиот); «Я вошел в домик Федосея Николаича (благоприобретенный-с)» (Ползунков); приложения: «Сегодня отец после обеда познакомил меня с Александриной (одна французенка)» (Униженные и оскорбленные). Подлежащее и сказуемое как организующие центры предложения, без которых выражение мысли затруднительно, подобным образом употребляются лишь тогда, когда имеют второстепенный характер и входят в ряд однородных членов. Так же употребляется и иногда встречаемое у Достоевского «вставное» дополнение: «Ну, да все, что я говорил (и про другое тут же), это все было вздор» (Преступление и наказание).

Как вставочные, свободнее употребляются обособленные распространенные второстепенные члены предложения, вообще отличающиеся некоторой смысловой само-

стоятельностью и в известной мере сами по себе имеющие характер дополнительного сообщения: «Так думал и умный мальчик Смуров (первый пришедший помириться с Илюшей)» (Братья Карамазовы); «Скоро глаза его остановились на маленькой Лидочке (его любимице), дрожавшей в углу» (Преступление и наказание); «Офицер вежливо (закрывая, впрочем, лицо платком) обратился к князю» (Идиот); возможно и «вставное» дополнение с предлогом: «Узнав, что бабушка и не думает уезжать, а напротив, отправляется опять в вокзал, они во всем конклаве (кроме Полины) пришли к ней переговорить» (Игрок).

Еще чаще, как вставочные, употребляются у Достоевского придаточные предложения — определительные, причинные, условные, уступительные, временные и образа действия: «Со мною в этот вечер (который я никогда в жизни не позабуду) случилось происшествие чудесное» (Игрок); «Как истинный друг ваш, прошу вас (ибо лучше друга не может быть у вас в эту минуту), опомнитесь!» (Преступление и наказание); «Отец Амалии Ивановны (если только у ней был какой-нибудь отец), наверно, какой-нибудь петербургский чухонец» (там же); «Она беспрестанно говорила об этом, вступала в разговор и на улице (хотя Дуня постоянно сопровождала ее)» (там же); «Итак, стоило только потихоньку войти, когда придет время, в кухню и взять топор, а потом, через час (когда все уже кончится), войти и положить обратно» (там же); «Тот взглянул на него, улыбнулся, погрозил ему пальцем и потом, страшно нахмурив брови (как будто в этом заключалась вся сила и весь успех работы), уставился глазами в бумаги» (Слабое сердце).



Присоединительные предложения (иногда члены предложения), вообще являющиеся добавочными суждениями или замечаниями, особенно легко преобразуются во вставные. Можно указать на значительное количество таких присоединительно-вставных конструкций и с сочинительными, и с подчинительными союзами: «За месяц до нашего несчастья он купил мне серьги, тихонько от меня (а я все узнала), и радовался, как ребенок» (Униженные и оскорбленные); «Я ни на что не могла решиться и ограничивалась одними мечтаниями (и бог знает какими мечтания-

ми!)» (Бедные люди); «Наш романтик скорей сойдет с ума (что, впрочем, очень редко бывает), а плевать не станет» (Записки из подполья); «А когда отцы перестанут ссориться (потому что они непременно перестанут ссориться) — тогда...» (Униженные и оскорбленные).

Присоединительный характер имеют и многочисленные у Достоевского бессоюзные «межфразовые» (стоящие на границе между самостоятельными высказываниями) вставные предложения: «Петр Петрович даже как будто вздрогнул. Это заметили все. (Потом об этом вспоминали.) Лебезятников шагнул в комнату» (Преступление и наказание); «Да ко всему-то впридачу, кроме позора-то, ненавистную жену ввести в дом! (Потому что ведь ты меня ненавидишь, я это знаю!) Нет, теперь я верю, что этакой за деньги зарежет!» (Идиот).

При помощи скобок, как и вставные предложения, иногда Достоевский выделяет и авторские слова, разрывающие прямую речь: «А впрочем (спохватился вдруг мистер Астлей), я уже сказал вам» (Игрок). Вероятно, в таких случаях имеет место преимущественно пунктуационное своеобразие. В примере «Но я не оправдываюсь (поспешила и, заметив насмешливую улыбку на губах его): я во всем виновата» (Неточка Незванова) — скобки употреблены, очевидно, потому, что они позволяют сохранить двоеточие, указывающее на причинно-следственные отношения между двумя предложениями. При обычной пунктуации — тире с запятыми — постановка двоеточия была бы невозможна, а следовательно, был бы потерян существенный смысловой оттенок.



Свойственная произведениям Достоевского многоплановость повествования в известной мере осуществляется именно за счет введения в контекст вставных конструкций, позволяющих в более или менее сжатом виде указать на дополнительные детали, события, персонажи, показать их признаки и т. п. Рассмотрим очень характерный в этом отношении пример вставных предложений в речи персонажа, взятый из романа «Идиот»: «Милый, добрый мой Лев Николаич! — с чувством и с жаром сказал вдруг генерал, — я... и даже сама Лизавета Прокофьевна (которая, впрочем, тебя опять начала чествовать, а вместе с тобой и меня за тебя, не понимаю только за что), мы все-таки те-

бя любим, любим искренно и уважаем, несмотря даже ни на что, то есть на все видимости. Но согласитесь, милый друг, согласись сам, какова вдруг загадка и какова досада слышать, когда вдруг этот хладнокровный бесенок (потому что она стояла перед матерью с видом глубочайшего презрения ко всем нашим вопросам, а к моим преимущественно, потому что я, черт возьми, сглушил, вздумал было строгость показать, так как я глава семейства, — ну, и сглушил), этот хладнокровный бесенок так вдруг и объявляет с усмешкой, что эта „помешанная“ (так она выразилась, и мне странно, что она в одно слово с тобой: „разве вы не могли, говорит, до сих пор догадаться“), что эта помешанная „забрала себе в голову во что бы то ни стало меня замуж за князя Льва Николаевича выдать“.

Особенно интересны в творчестве великого писателя-психолога случаи использования рассматриваемой синтаксической категории в устной речи вообще и в речи персонажей в частности. Характерные прежде всего для устной формы речи, вставные конструкции оказываются одним из важных средств ее воссоздания. В речи персонажей, кроме того, они используются как характерологическое средство, поскольку в значительной мере именно через эту речь Достоевский раскрывает душевный мир своих героев. В их репликах и монологах вставные конструкции применяются с чрезвычайно разнообразными творческими замыслами, и полная классификация их вряд ли осуществима. Но можно отметить несколько типичных случаев использования вставных единиц для показа разных психических состояний действующих лиц — беспокойства и взволнованности: «Когда вы сидели и плакали, я про себя думал (ох, дайте мне сказать, что я думал!), я думал, что (ну, уж, конечно, этого не может быть, Настенька), я думал, что вы... я думал, что вы как-нибудь там... ну, совершенно посторонним каким-нибудь образом, уж больше его не любите» (Белые ночи); неожиданного поворота мысли: «К тому же отец непременно хотел меня взять сегодня к невесте (ведь мне сватают невесту; Наташа вам сказывала? да я не хочу)» (Униженные и оскорбленные); противоречивости мышления: «Дуня, милая! Если я виновен, прости меня (хоть меня и нельзя простить, если я виновен)» (Преступление и наказание); «Но вот, что я вам скажу! Если б только могло быть (чего, впрочем, по человеческой природе никогда быть не может), если б могло быть, чтоб каждый из

нас описал свою подноготную» (Униженные и оскорбленные).

Рассмотренные виды вставных конструкций (собственно вставные и преобразуемые во вставные члены предложения и предложения), и случаи их применения в той или иной мере известны и в произведениях многих русских писателей, но только у Достоевского они получили максимальное распространение, особенно за счет преобразования во вставные слов и предложений, грамматически связанных с контекстом. Творчество Достоевского отличается концентрированностью и целенаправленностью в применении этого средства выразительности для глубокого раскрытия психологического разнообразия и сложности душевного мира человека.

В. П. КОВАЛЕВ

Херсон

Рисунки Ю. Космынина





СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИНОНИМЫ

Термин «словообразовательные синонимы» не однозначен, его применяют порой к несхожим между собой явлениям языка. Одно из возможных употреблений этого термина возникает тогда, когда речь идет об однокоренных словах, являющихся синонимами и обладающих разными аффиксами (приставками и суффиксами). В этом смысле словообразовательные синонимы — то же самое, что однокоренные синонимы: братец — братик, типичный — типический, выйти — сойти (на следующей остановке), вокруг — кругом.

В древнерусском языке подобного рода синонимические пары обнаруживаются во многих памятниках, в частности в произведениях переводной литературы. Последнее легко объяснимо: переводчик предлагает свое слово, равнозначное иноязычному, другой переводчик или даже переписчик — свой вариант, в чем-то отличающийся от первоначального, и в результате появляются любопытные соответствия: братоубийство — братоубиение, проповед-

ник — проповедатель, бежание — убежание. Множество таких примеров можно отыскать в сохранившихся древнерусских списках переводных произведений.

Тесное сочетание двух словообразовательных синонимов иногда производит впечатление своеобразной игры слов, которую можно использовать в тех или иных формах художественной речи. В частности эта особенность вошла в поэтику художественно-речевых средств нашего фольклора: имеются в виду такие устойчивые выражения, как *цветики — цветочки, котик — коток (коточек)* и др., имеющие, очевидно, фольклорное происхождение.

В русской поэзии XVIII—XIX веков нередки случаи, когда однокоренные синонимы или же фонетические варианты слова (явление очень близкое к синонимии) употребляются один «рядом» с другим, иногда в пределах одного стиха. Например у Радищева: «Будешь проклято *вовек, ввек* удивлением всех», у Державина: «*Доколе, рек, доколь* вам будет...». В этих примерах члены синонимических пар различаются лишь чисто фонетическими вариантами: нуль звука в одном случае (*ввек, доколь*) и *о* или *е* в другом (*зовек, доколе*). То же и в эпиграмме Дениса Давыдова на князя Шаликова: «...Спасает родину князька, А князик держит корректуру...» (князек — князик).

Бывает, что словообразовательные синонимы встречаются в удаленных друг от друга участках большого текста и между ними по существу нет никакой связи: *бабешка* — в одной главе «Мертвых душ» и *бабенка* — в другой. Эти формы не сцеплены, не перекликаются, существуют каждая сама по себе, если не сблизить их мысленно, к чему вовсе не располагает текст.

Использование словообразовательной синонимии в художественных произведениях разнохарактерно, не соотносится с какой-то одной эстетической целью. В этом смысле ни на кого не «похож» Достоевский, особенно склонный к употреблению словообразовательных синонимов, стилистическое назначение которых различно.

Словообразовательные синонимы у Достоевского сосредоточены по преимуществу не в авторском повествовании, а в репликах персонажей. Сравнительно с ними речь автора или даже рассказчика-повествователя не столь эмоциональна, и для нее, естественно, в меньшей степени характерны приемы избыточной выразительности, напряженной словесной игры. Напротив, героев своих Достоевский заставляет говорить зачастую необычно: либо вычурно, с чрезмерным пафосом, либо не совсем по-русски или не совсем

литературно, либо с каким-то особым «смакованием» произносимых слов. Ломаная речь персонажей, плохо владеющих русским языком, пьяная болтовня Лебядкина и ему подобных, благообразно журчащие наставления Макара Долгорукого, насыщенные народно-поэтическими мотивами, интонациями сказителя, — все это в своем словесном воплощении требует повышенного уровня речевой выразительности.

Персонажи Достоевского даже имена и фамилии — свои и своих собеседников — нередко искажают так, что рядом с подлинным именем появляется его двойник, однокорневой или сходнокорневой синоним. Так, Разумихин в «Преступлении и наказании» шутя называет себя Вразумихиным, добавляя к своей фамилии приставку *в*. Кстати, эту же фамилию извращает Лужин уже настолько, что меняется самый корень слова: Рассудкин. Аркадию Долгорукому в «Подростке» слышится, что его нарекли Коровкиным. Алешу в «Братьях Карамазовых» однажды именуют Черномазовым. Грушеньку ее бывший возлюбленный, польский офицер, зовет «пани Агриппина», и она горячо возражает против такой огласовки ее имени: она не пани Агриппина, а Аграфена, Грушенька. Это далеко не исчерпывающий перечень имен и фамилий-двойников, в наличии которых можно видеть частный случай использования словообразовательной синонимии.

Стилистически имя (фамилия) героя и сопутствующее ему имя-двойник неравнозначны хотя бы потому, что имя-двойник получается в результате некоторого искажения действительного имени. Искаженные слова выстраиваются в особый стилистический ряд, не совпадающий с рядом соответствующих им нормальных слов. Недаром герои Достоевского порой горячо и раздраженно реагируют на всякого рода искажения своих имен.

Капитан Снегирев в «Братьях Карамазовых» признается, что ему следовало бы зваться капитаном Словоерсовым — столь часто он употребляет в своей речи слово-ер-с: это-с, видели-с, деньги-с и т. п. Слово-ер-с — один из чрезвычайно легких и доступных способов распространения в языке слов-двойников. Слово остается как бы самим собой, но приращение к нему подобострастного призвука *-с* создает иную стилистическую окраску. У Пушкина в «Евгении Онегине»:

...Все да и нет; не скажет да-с
Иль нет-с...

Поставленные один рядом с другим, слова *да* и *да-с*, *нет* и *нет-с* вступают в стилистическое взаимодействие. Достоевский охотно пользовался подобным приемом. Приведем один наиболее интересный пример из «Преступления и наказания». Порфирий Петрович беседует с Раскольниковым:

— Это ведь у Гоголя, из писателей, говорят, эта черта [умение подмечать смешное — *А. И.*] была в высшей-то степени?

— Да, у Гоголя.

— Да-с, у Гоголя-с ... до приятнейшего свидания-с.

— До приятнейшего свидания...

Это случай, когда слова-двойники принимают участие в поединке между двумя персонажами. Порфирий как бы исправляет Раскольникова: будем, дескать, смиреннее, ~~не~~ так горды, скажем *да-с*, а не *да*. И сам подает пример: до свидания-с. Но гордый Раскольников, подобно пушкинскому Онегину, «не скажет да-с иль нет-с», а «все да и нет», и на порфирьевское «до свидания-с» отвечает просто и сухо: «до свидания». Впрочем, иногда он передразнивает Порфирия:

— Теперь на именины-с?

— На похороны-с.

— Да бишь, на похороны!

Внешне уступчивее Порфирий. Он, если Раскольников его исправит подобным образом, с удовольствием примет это исправление:

— Так вы все-таки верите в Новый Иерусалим?

— Верую, — твердо отвечал Раскольников.

Верить и *веровать* — словообразовательные синонимы. Последний — с суффиксом *-ова-* — звучит более торжественно, относится к высокому стилю. Раскольников, возможно, намекает, что о столь важных вещах следует говорить приподнято, и отклоняет обыденное *верить*, предложенное Порфирием.



Тот послепенно соглашается, что видно уже из его следующего вопроса Раскольникову:

— И-и-и в бога веруете? Извините, что так любопытствую.

— Верую, — повторил Раскольников, поднимая глаза на Порфирия.

Никто не может знать, что Раскольников — убийца. И однако же он встречается как-то на улице незнакомого мещанина, который, зловеще глядя на него, говорит вдруг тихим и отчетливым голосом: «Убивец!». Похолодевший Раскольников не сразу может ответить что-либо, молчит. И наконец:

— Да что вы ... что ... кто убийца? — пробормотал Раскольников едва слышно.

— Ты убивец, — произнес тот, еще раздельнее и внушительнее ...

Стилистически нейтральное слово *убийца* и просторечное *убивец* — однокорневые синонимы. Каждый из них в данном случае оттеняет социально-речевые характеристики обоих персонажей: с одной стороны — студент, образованный человек, не чуждый литературному труду, и с другой — мещанин, ремесленник, представитель мелкого петербургского люда.

Приведенные примеры из «Преступления и наказания», несмотря на их разнохарактерность, сходны в одном отношении. Сталкиваются, казалось бы, очень похожие слова — с одним и тем же корнем, с близким или даже одинаковым значением (верить — веровать, убийца — убивец), но с разной стилистической окраской, и в этом словно бы маленьком несовпадении угадывается особая стилистическая фигура, обнаруживающая одно свойство: слова-близнецы, слова-двойники, при всей их «без малого» одинаковости, очень различны. Так, Разумихин — фамилия, которую пристало бы носить разумному человеку, в то время как фамилия Вразумихин скорее вызывает представление о резонере, любящем поучать, наставлять, «вразумлять»; интеллигентный убийца никогда не назовет себя всерьез «убивцем»; верить или не верить можно чьим-то словам, а веровать или не веровать — в бога.

Но у Достоевского есть и такие словообразовательно-синонимические пары, члены которых стилистически равнозначны. Их назначение иное. Они не создают той фигуры, о которой сказано выше. Употребленные оди-

сразу вслед за другим, они создают впечатление словесной бессмыслицы. Иногда тем самым характеризуется развязная речь какого-нибудь пьяного и грубого монстра. Таков в «Преступлении и наказании» некий отставной пгручик, провиантский чиновник, бесчинствующий на поминках Мармеладова. Обидевшись на Катерину Ивановну, он готов возмутиться и требовать объяснений, но вдруг проявляет неожиданное «великодушие»:

— А па-а-азвольте спросить, это вы насчет чего-с,— начал провиантский,— то есть на чей... благородный счет... вы изволили сейчас... А впрочем, не надо! Вздор! *Вдова! Вдовица!* Прощаю... Пас! — и он стукнул опять водки.

Этот персонаж — прямой предшественник Лебядкина в «Бесах»: тот же темперамент, тот же стиль речи. Это сходство проявляется и в характере употребления словообразовательных синонимов. У провиантского — «Вдова! Вдовица», у Лебядкина: «— Р-р-раб! Раб крепостной, и сестра твоя *раба* и *рабыня*...».

Так Лебядкин бранит Шатова. *Раба* и *рабыня* (как *вдова* и *вдовица*) — словообразовательные синонимы, которые стилистически не различаются между собой. То, что они имеют общий корень, общую основу, подчеркивает неуместность их столь близкого соседства. «Ужасна и страшна» — здесь не всякий заметит повторение одного и того же, как заметил это в «Обыкновенной истории» Гончарова Адуев старший, придирчиво разбиравший стихи племянника, но когда синонимы, помимо общности их значения, являются однокоренными, тогда нелепый комизм их соседства бросается в глаза.

У Достоевского есть действующее лицо, в речи которого словообразовательные синонимы встречаются особенно часто. Это Макар Долгорукий из «Подростка». Рассказчик несколько раз повторяет, что Макару свойственно благообразие. Благо-



образен и язык его — богатый, пропитанный соками народности. Макар с удовольствием обряжает слово, вернее его корень, примеряет к нему разные формы. Замечательно, что самые первые слова, которые он произносит в романе, оказываются однокоренными синонимами: «*Садись, присядь*, ноги-то небось не стоят еще,— приветливо пригласил он меня».

И далее мы найдем в его рассказах словообразовательно-синонимические пары и примеры слов в их фонетическом варьировании: хотя — хоша, восклонился — склонился, юноша — вьюнош. Нельзя здесь указать четкое стилистическое обоснование, выясняющее уместность того или иного синонима в определенном контексте, как это было нетрудно сделать применительно к «Преступлению и наказанию». Тем более нельзя приписать словоупотреблению Макара «лебядкинскую» бездумность. Здесь подозревается не тот и не другой, а третий, особый тип словообразовательной синонимии.

Интересно, что Подросток пытается найти стилистическое обоснование синонимам Макара. Заметив, что тот называет его то юношей, то вьюношем, он поясняет это следующим образом: Макар... «любил меня слушать... полагая, что имеет дело хоть и с „вьюношем“, как он выражался в высоком слоге (он очень хорошо знал, что надо выговаривать „юноша“, а не „вьюнош“), но понимая вместе и то, что этот „вьюнош“ безмерно выше его по образованию». Итак, *вьюнош* в восприятии Макара (если только Подросток правильно его понял) — слово высокого стиля! Насколько же необычна в таком случае стилистика Макара. Ведь если уж искать для слова *юноша* синоним в сфере высокого стиля, то прежде всего всплывет в памяти церковнославянская форма *уноша*, но никак не *вьюнош*, низводящий *юношу* до *вьюна* (см. об этом статью «Вьять» в Толковом словаре В. И. Даля).

По всему чувствуется, что Макар любит и ценит в языке его неиссякаемое изобилие, щедрую избыточность. Если для обозначения чего-нибудь хорошего существует не одно слово, а два, три, то он непременно воспользуется ими, как бы лаская этими словами милый ему предмет. Отсюда его тяготение к синонимии в самом широком смысле, не только к словообразовательной: «*Ребеночек* у женщины на руках пискнул — господь с тобой, маленький *человечек*, расти на счастье, *младенчик*».

Влияние стилистики Макара ощутимо в речи его быв-

шей жены, матери Подростка. Так, в одном из ее разговоров с сыном на все лады варьируются словообразовательные формы от слова *голубь*:

— ... Помню ... голубь пролетел насквозь через купол, из окна в окно ...

— Господи! Это все так и было,— сплеснула мать руками,— и голубочка того как есть помню. Ты перед самой чашей встрепенулся и кричишь: «Голубок, голубок!».

Однокоренные слова с близким или смежным значением изредка сочетает сам Подросток: «это я *соврал*, *архисоврал*»; «... уйти от них навсегда, пройдя безвредно мимо *чудес* и *чудовищ*».

Словообразовательные синонимы употребляют в своей речи разные действующие лица произведений Достоевского. Типы такого словоупотребления резко различаются. Но в них все-таки есть и нечто общее. Что же именно?

В XIX веке бытовали такие как бы образные выражения: живое дело, живая мысль, живое слово. О нравившихся стихах или прозе, в частности, говорили: «живое слово». Достоевский сделал все, чтобы его слова стали воистину живыми: не коснели в неподвижности, а шевелились, теснились, пробовали себя в неузаконенных литературной нормой позициях. Использование словообразовательной синонимии наряду с множеством других художественно-речевых приемов служило этой цели. При этом создавалось впечатление, что слово видоизменяется, «переодевается» — независимо от того, кто и из каких соображений его «переодевает»: капитан Лебядкин или Макар Долгорукий, Раскольников с Порфирием или Разумихин. Важно, что слово преторпевало какие-то изменения, за которыми читатель мог следить.

Это не было самоцельной игрой. Как бы ни был увлечен писатель магией слов, искусом формотворчества, всегда это оставалось для него делом служебным, вспомогательным. К Достоевскому менее всего подошло бы определение: «мученик слова». Воистину он был «мучеником идеи», но, будучи большим художником, он находил глубоко оригинальные формы, свидетельствующие о замечательной силе его мастерства.

А. А. ИЛЮШИН
Москва

Рисунки Ю. Космынина

«ПО СЛОВЕЧКУ...»



Рисунок Ю. Космынина

Народность языка — одна из ярких особенностей поэзии Н. А. Некрасова. Говоря о главном и типичном для своего творчества произведении — поэме «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов видел его корни в народной среде, в опыте, данном поэту «изучением народа», в «сведениях» о нем, накопленных «по словечку» в течение многих лет. Эти сведения в некрасовском познании жизни были многообразны и прежде всего отразились в речевом строе, в характере эпического и лирического повествования его поэзии. Нетрудно в стихах Некрасова найти живое русское слово, фольклорные элементы, крестьянскую речь. И все это воспроизведено некрасовской музой, творчески организовано, интересно не столько само по себе, сколько в контексте, в произведении в целом. Все это народное, языковое имеет в каждом случае определенную эстетическую задачу.

Автор-повествователь, лирический герой стихотворений любит беседовать с бабами, мужиками, деревенскими ребятами, подслушивать крестьянские разговоры. Массовые сцены в поэзии Некрасова характерны разнообразными народными толками, крестьянским многоголосием: «В деревне», «Деревенские новости», «Коробейники», «Знахарка», «Кумушки», «Кому на Руси жить хорошо». В них народная точка зрения, крестьянский кругозор; в разговорах — обычное смешение различных тем. «Деревенские новости» (1860) — о господской воле, о становом, пожаре, в Ботове «валится скот», «умер третьеводни Влас ...» и т. д. Но знаменательна концовка стихотворения:

Сходитя в хате мосй
Больше да больше народу:
«Ну говори поскорей,
Что ты слыхал про свободу?»

Главная из всех тем завершает произведение нерешенным вопросом. То же самое в стихотворении «Знахарка»: «... Ты нам тогда предскажи нашу долю, Как от господ отойдем мы на волю!». В «Кому на Руси жить хорошо» речь Якова Нагого обобщает мужицкие разнообразные толки на сельской ярмарке.

Близки к ним по стилю, по своему назначению риторические вопросы, обращения лирического героя к народу: «Ты проснешься ль исполненный сил...»; «Что же ты стала над ним в отупении?»; «Чем хуже был бы твой удел,

когда б ты менее терпел?». Авторское и народное перекликается, сливается. Народная мысль выражается не только народным словечком. Она проявляется в разных речевых стилях поэта. Своеобразное смешение многих речевых потоков в единый художественный сплав произведения создает неповторимость некрасовского изображения жизни.

Оно внутренне противоречиво. Многоголосие означает также конфликт, спор о чем-то, разные точки зрения, включая и авторскую. В «Кому на Руси жить хорошо» столкновение разных представлений о счастье, о долге, о России нередко выражено чисто фразеологическими средствами. Бахвал мужик Клим Лавин

Каких-то слов особенных
Наслушался: Атечество
Москва первопрестольная.
Душа великорусская
«Я — русский мужичок!» —
Горлашил диким голосом...

«У Клина речь короткая И ясная как вывеска, Зовущая в кабак...» — говорит в поэме староста Влас. Речами, подобными рекламе, вывеске, богата поэма «Современники». Обязательная часть многих поэм Некрасова — бурлацкие, разбойничьи, крестьянские песни. В них вехи сюжетного развития произведения, поэтические обобщения, некрасовское «подводное течение». «Песня убогого странника» в «Коробейниках» с бесконечным припевом «холодно, странничек, холодно», «голодно, родименький, голодно» объясняет фольклорно-крестьянским языком главные невзгоды мужицкой жизни. Бурлацкая «дубинушка» в «Современниках» — «Хлебушка нет, валится дом, сколько уж лет Каме поем...» — даже в исполнении одного из «героев времени» Саввы Антихристового диссонирует речам и спичам «триумфаторов» и их прихлебателей. Мужичье, народное трезвое слово — в контексте произведения очень значимое. Оно отвечает на недоуменные вопросы, вносит новые мотивы, комментирует, помогает прозревать, понять происходящее, переживаемое. Во время тяжелой, предсмертной болезни Некрасов писал:

Я примеру русского народа
Верю: «В горе жить —
Некручинну быть» —
И, больной работая полгода,
Я трудом смягчаю мой недуг.
Ты не будешь строг, читатель-друг!

Пословица очень точно выражает суть поэтического конфликта, а также сопряженность мироощущения лирического героя с опытом народа.

Одно характерное «словечко», услышанное и записанное поэтом, могло быть ключом для целого повествования. Сестра поэта А. А. Буткевич вспоминала: «...он записывал одним словечком целый рассказ и помнил его всю жизнь по одному записанному слову».

«Последыш» — меткое прозвище князя Утятна в поэме «Кому на Руси жить хорошо» заставляет поэта искать соответствующую прозвищу художественную характеристику героя. Первый набросок портрета Утятника:

Худой! Седые длинные
Усы, фуражка белая
Высокая, с околомеш
Из красного сукна.

В этом описании нет еще главных примет «последыша». Портрет внешний, чисто литературный. В последующем варианте «вид» Утятника более колоритен:

Худой! Как зайцы зимние
Весь в белое одет.
Фуражка тоже белая...

В портрете князя намечаются детали: «нос с горбинкою», «разные глаза» (барометр, показывающий состояние барского духа) — «Один здоровый — светится, а левый тусклый, матовый». Живости изображения еще мешают трафаретные, книжные эпитеты. После нескольких правок возникает портретная зарисовка, перекликающаяся с крестьянским видением последыша: «Нос клювом, как у ястреба», левый глаз — «мутный, пасмурный». Столкновение чудного княжеского, барского с трезвым мужицким взглядом порождает сатирическое восприятие последыша.

В набросках поэмы «Без роду, без племени» (1877) есть такие стихи:

Имени и роду
Богу не скажу
Надо — воеводу
Словом ублажу.
«Кто ты?» — «Я-то? Житель!»
Опустил кулак:
«Кто ты?» — «Сочинитель!»
Подлинно что так».

Меткое, как пуля,
Слово под конец:
«Кто ты?» — «Бородуля!» —
Прыснул! «Молодец!»

Некрасов пояснял: «бородуля — баба с бородой». Такое толкование подтверждается Словарем Даля. Слово *бородуля* бытовало в Новгородской губернии. В сознании поэта оно, однако, связывалось с легендой о бродяге, которую Некрасов рассказывал весной 1877 года А. Н. Пышину: «...Снежная пустыня, Сибирь, на снегу отпечатались лапки птиц и зверьков; бродит беглый, не помнящий родства; много раз он попадался, начальство бывало строгое: „Кто ты?“ — „Житель“ — начальство бесится; „Кто ты?“ — „Сочинитель“ — начальству смешно, и бродяга обошелся без наказания. Он жил в себе, и была у него невеста — чиновник отбил, и он ушел сам в Сибирь и бродил „непомнящим родства“. Теперь — время ужасное: дни все дольше, а снега все больше. Попадается ему маленький зверек, замерзший; он взял его на руки, тот дрыгает ланкой, еще жив. Он спрятал зверька, горноста, в шапку, и все бродил; через несколько времени сиял шапку посмотреть — зверек ожил и стремглав ринулся в лес. Другая встреча: набрел на кибитку, там тот самый чиновник с его бывшей невестой и ребенком: они сбились с пути, грозит метель, ямщик ушел искать дорогу. Они просят спасти их; бродяга отводит их в избу, какие строят в пустых местах для всякого случая. Он отводит их туда, — и хочет потешиться мщением; он любит смотреть на огонь и собирается сжечь их; он обложил избу дровами, выбрал место, откуда станет смотреть, — но захотелось ему взглянуть еще раз на эту женщину; он взглянул в волоковое окно и увидел, что она молится и ребенка крестит. Зрелище поразило его, он кинулся бежать и без оглядки тридцать верст пробежал».

Так одно «словечко» помогало воскресить целую историю, послужившую основой неосуществленного поэтического замысла Некрасова.

В творчестве любого писателя могут быть повторения — в образной характеристике, в конструкции поэтической фразы, в символике слова — во всем том, из чего складывается стиль писателя. Некрасов не боится сходных деталей, традиционных для его творчества мотивов. Собираемый образ народа у него имеет постоянные приметы: изнуренная фигура мужика; песня, «подобная стогу». Выразительный портрет изможденного белоруса есть в «Железной дороге», в «Кому на Руси жить хорошо». Внутренне близки картины страдальной поры из разных стихотворений:

Зной нестерпимый: равнина безлесная,
Нивы, покосы да ширь поднебесная —
Солнце нещадно палит.

Бедная баба из сил выбивается,
Столб насекомых над пей колыхается.
Жалит, щекочет, жужжит!

В полном разгаре...

Овод жужжит и кусает,
Смертная жажда томит,
Солнышко сери нагревает,
Солнышко очи слепит...

Мороз, Красный нос

Повторяющееся — самое характерное, **незабываемое**, рожденное сильными впечатлениями. Оно в некрасовских произведениях — своего рода остов, необходимый для изображения многих картин из жизни России.

Некрасовская муза богата лейтмотивами, присущими только ей тропами, поэтической оркестровкой. Элегии в его стихах не чужд гражданский пафос — «Пускай нам говорит изменчивая мода...», романсу — политическое звучание — «Еще тройка», оде — элегические мотивы — «Памяти Добролюбова». Для многих произведений характерно стилевое разнообразие. Например в «Размышлении у парадного подъезда» — эпическое повествование о мужиках, сатира на «владельца роскошных палат», элегия — размышление о русском народе.

Живая разговорная речь переплетается с публицистической, вливается в традиционно-поэтический язык. Языковые формы церковно-книжного происхождения усиливают в поэзии Некрасова простонародный характер стиля. На эту тему есть интересная статья профессора А. В. Миртова в «Ученых записках Горьковского университета» (т. 50, 1958). Метафоры, сравнения фольклорного происхождения соседствуют с типично некрасовскими:

...И было нам сначала любо
Смотреть, как губы он кусал,
Когда с ним обходились грубо;
Так удила кусает конь,
Когда ездок его прищиприт.
В глазах покажется огонь,
Однако промолчит — не спорит!

Несчастные

...Вы были в сечах роковых
И, как вдовец жену меняет,
Меняли всадников лихих.

Тишина

Я сбросила шубу... Бегу на огонь,
Как бог уберег во мне душу!
Попавший в трясину испуганный конь
Так рвется, завидевши сушу...

Русские женщины

Вас. В. Гиппиус справедливо писал: «...Сфера высоких символов в сознании Некрасова неотделима от образов, непосредственно связанных с народной жизнью». В поэтическом стиле Некрасова отражается богатейшее содержание русской народной жизни, ее духовная суть, ее эстетическое действие.

Доктор филологических наук
Г. В. КРАСНОВ

Горький



Бывало, я был к себе неумолим и просиживал ночи за пятью строками. Из того времени я вынес убеждение, что нет такой мысли, которую человек не мог бы себя заставить выразить ясно и убедительно для другого, и всегда досажаю, когда встречаю фразу «нет слов выразить» и т. п. Вздор! Слово всегда есть, да ум наш ленив, да еще вот что: надо иметь веры в ум и пронизательность другого по крайней мере столько же, сколько в собственные. Недостаток этой веры иногда бессознательно мешает писателю высказываться и заставляет откидывать вещи очень глубокие, чему лень, разумеется, потворствует...

Н. А. Некрасов. Из письма Л. Н. Толстому
(17 мая 1857)



Рисунок Ю. Космынина

ЭЗОПОВСКИЙ ЯЗЫК

Передовые русские писатели прошлого не имели возможности легально критиковать существующие порядки и обсуждать пути преобразования общества. Этому препятствовала цензура, бдительно стоявшая на страже интересов господствующих классов.

С целью обмануть цензуру и власти авторы придавали своим мыслям другой вид посредством различных иносказаний и намеков. Язык — это важнейшее средство человеческого общения — применялся не столько для того, чтобы выражать мысли, сколько для того, чтобы скрывать их... Текст нуждался в расшифровке.

Такой язык, полный иносказаний, завуалированных намеков и аллегорий, принято называть эзоповским, по имени древнегреческого баснописца Эзопа, родоначальника аллегорического жанра. Ввел этот термин в употребление великий русский сатирик М. Е. Салтыков-Щедрин; он так определил его особенности: «Создалась особенная рабская манера писать, которая может быть названа эзоповскою — манера, обнаруживающая замечательную изворотливость в изобретении оговорок, недомолвок, иносказаний и прочих обманных средств». Написанное эзоповским языком заключало в себе тайный смысл, понятный лишь тем прозорливым читателям, которые умели читать между строк.

Расскажем о том, как русские литераторы применяли эзоповский язык и какими приемами они пользовались при этом.

В 1805 году молодой Н. И. Гнедич (впоследствии переведший «Илиаду» Гомера) свое выступление против крепостнического строя облек в форму послания некоего перуанца испанцу. Как известно, испанские и португальские завоеватели (конкистадоры), захватив Южную Америку, поработили ее коренное население. Читатели применяли «Послание» к русской действительности. Декабрист В. Ф. Раевский распространил его в армии; его читали солдатам в школах, организованных для них декабристами, и оно звучало как резкий протест против крепостного права.

В «Негре» В. Пупугаева (1807), единомышленника и последователя Радищева, обличение работорговцев воспринималось как выпад против русских помещиков; монолог провозносил скорее крепостной, чем негр.

Пользовался эзоповским языком и Пушкин. Пример этого — конец первой строфы «Памятника»:

Вознесся выше он главою непокорной
Александрийского столпа.

Египетский город Александрия славился обелиском, воздвигнутым римским полководцем Помпеем. Но вовсе не с этим монументом сравнивал поэт свой «нерукотворный памятник»: он имел в виду колонну, сооруженную в 1834 году перед Зимним дворцом в честь Александра I. Но даже в таком виде политический смысл этой строки был затушеван настолько прозрачно, что при первой публикации «Памятника» в 1841 году вместо «Александрийского» было напечатано «Наполеонова» (подразумевалась Вапдомская колонна в Париже, воздвигнутая в 1806 году в честь побед Наполеона I).

Ипосказания широко применяли и революционные демократы 50-х и 60-х годов прошлого века: Добролюбов, Некрасов, Писарев, Чернышевский и др. Они были вынуждены постоянно пользоваться намеками, аналогиями, метафорами, параллелями, умолчаниями — «фигуральным языком», по выражению Добролюбова. Читатели должны были сами докапываться до смысла написанного.

«Многое мы не досказали, об ином, напротив, говорили очень длинно...» — так заканчивал Добролюбов свою знаменитую статью „Темное царство“. — Виною того и другого был более всего способ выражения — отчасти метафорический, — которого мы должны были держаться».

По словам биографа Добролюбова, «он [Добролюбов] пробивал дорогу своим мыслям при помощи разных способов и приемов, о которых можно написать целую книгу — так они были хитроумны и своеобразны». Вот несколько примеров из терминологии Добролюбова: под «самодурством» разумелось самодержавие, под «людь-

ми будущего» — Герцен и Огарев. Вместо «революция» он писал «коренное изменение общественных отношений», «настоящий день», «святое дело», «самобытное воздействие народной жизни».

Приходилось и Некрасову, чтобы не вызвать придирок цензуры, не раз смягчать революционную остроту призывов, маскировать свои мысли. В «Песне Еремушки» он писал о «человеческих стремлениях»:

С ними ты рожден природою,
Возлелей их, сохрани!
Братством, равенством, свободою
Называются они.

Разве могла цензура пропустить знаменитую триаду, провозглашенную в лозунге Французской республики? И поэт заменил «равенство» сначала «родниной», а затем «истиной».

Под «генерал-лейтенантом Рудометовым 2-м» в сатирической автобиографии этого солдафона (1863) Некрасов разумел царя Александра II. «Рудою» встарь называли кровь, а пускание крови — рудометанием. В завуалированной форме поэт намекнул, что царь проливает кровь революционеров, казнимых по его приказу.

Обилием намеков и иносказаний отличались произведения Салтыкова-Щедрина. Эта манера письма помогала ему, обходя рогатки цензуры, высмеивать реакционеров и либералов. Эзоповский язык делал суть написанного неуязвимым для придирок цензоров, а читателям кое-где бросаясь намек, что не следует понимать автора буквально.

«Привычке писать иносказательно я обязан дореформенному цензурному ведомству, — пишет Щедрин. — Оно до такой степени терзало русскую литературу, как будто поклялось стереть ее с лица земли. Но литература упорствовала в желании жить и потому прибегала к обманным средствам <...>. С одной стороны, появились аллегории, а с другой — искусство понимать эти аллегории, искусство читать между строками».

Великий сатирик искусно использовал гибкость русской лексики и обогатил ее рядом слов, ставших специфическими терминами для обозначения тех пороков общества, которые он клеймил. Используя созвучие слова *самодур* с фамилией маркизы Помпадур, фаворитки Людовика XIV, от прихотей которой зависела политика Франции, Щедрин превратил эту фамилию в нарицательное имя; жен «помпадуrow» он окрестил «помпадуршами».

Некоторым словам он придавал особый, скрытый смысл: «Иванушки-дурачки» — народ, «фюнты!» — ссылка, «подкузьмление» — эксплуатация крестьян помещиками (от выражения «показать кузькину мать»). Слово *вол* Щедрин заменял «маститой длинноволосой особой», усмирение польского восстания 1863 года — «доб-

лестными действиями русских войск». «Аплодисменты» означали рукоприкладство, «эпоха конфуза» — период, следовавший за отменой крепостного права. Ряд слов Щедрина использовал для завуалированного обозначения тех общественных прослоек, которые давали пищу его перу: круглописцы, пионеры, стрижи, пустодомы, лоботрясы, будочники. Особенно широкое распространение получили «ташкентцы» — имя, которым сатирик окрестил чиновников, подвизавшихся на окраинах Российской империи. Реакционных журналистов Краевского и Суворина Щедрина, намекая на их продажность, именовал Пятиалтынным Первым и Пятиалтынным Третьим.

Один из современников Щедрина писал: «Талант нашего автора располагает целым арсеналом удивительных и остроумных средств провести благополучно свою мысль через рифы и капканы в открытое море беспрепятственного пользования публики. Читатель Щедрина прошел особую, „щедринскую“ школу и так ловко научился читать своего автора между строк, <...> что все новоизобретенные препоны оказываются почти бессильными».

В сатирическом журнале «Искра» (1859—1873), проникнутом демократическими идеями, методы эзоповского языка применялись непрерывно. Поскольку в обличительных заметках нельзя было называть настоящее место действия (цензура не пропустила бы), оно заменялось другим, намекающим на настоящее. Для этого использовались и созвучия (вместо Чернигова — Чернилин), и смысловые ассоциации (вместо Царицына — Королевин), и состав населения (вместо Казани — Татарштадт), и географическое положение (вместо Новгорода — Волхорецк), и даже герб губернии (вместо Гродно — Зубровск).

Фамилии реальных лиц заменялись на страницах «Искры» вымышленными, подобранными так, чтобы намекнуть на качества их носителей. Упомянутого А. Краевского, который некогда переметнулся из демократического лагеря в реакционный, сатирики «Искры» именовали Хамелеоновым и Андреа Жируэттом (*girouette* — по-французски «флюгер»), а М. Каткова (другого реакционера в русской прессе тех времен) — Сикофантовым (от греческого *sykophantos* «доносчик»).

Если под вымышленной фамилией изображался определенный писатель, то подчас эта фамилия бывала связана с его творчеством. Так, под Некудовым и Взбаламученным подразумевались Н. С. Лесков, автор романа «Некуда», и А. Ф. Писемский, автор романа «Взбаламученное море». В. Крестовского, автора «Петербургских трущоб», именовали то Трущобиным, то Клубничкиным, намекая на его склонность к смакованию сальностей. Редактор — издатель журнала «Заноза» М. Розенгейм фигурировал на страницах «Искры» под именем Занозенгейма.

Если вымышленная фамилия оставалась по звучанию близка к настоящей, то разгадать намек было нетрудно. Лесков, намекая на ханжеское благочестие обер-прокурора Синода Победоносцева, писал о некоем Лампадоносцеве. Переиначивали эту фамилию и другие публицисты, называя ее владельца, махрового реакционера, то Бедоносцевым, то Доносцевым.

В 1902 году в газете «Россия» появился фельетон «Господа Обмановы», где как будто высмеивалась рядовая помещичья семья во главе с «Никой-Милушей», владельцем «села Большие Головотыпы, Обмановка тож». За этот памфлет, направленный против царствовавшего дома Романовых и принадлежавший перу А. Амфиотропова, газету закрыли, а дерзкого автора сослали в Минусинск.

Д. Бедный в дореволюционных баснях под именами Али-Родзя и Счегло-Делла-Вита вывел председателя Государственной думы Родзянко, министра Щегловитова. Другого министра, Протопопова, он именовал Протоплутом, а генерала Юдепича — Иуденичем.

К эзоповскому языку привыкли не только читатели, но и цензоры, которые искали скрытый смысл даже там, где его не было. Однажды пострадал от этого и сам Эзоп: цензор перечеркнул все его басни, представленные в переводах Демьяна Бедного, и на полях рукописи красным карандашом начертил: «Знаем мы этого Эзопа!».

Приходилось и В. И. Ленину маскировать «крамольные» мысли. В труде «Материализм и эмпириокритицизм» упоминается о том, как церковь и ее служители используются господствующими классами для упрочения религиозной идеологии. Но говорить об этом открыто — значило обречь заранее книгу на запрет цензурой.. И Ленин пишет в ноябре 1903 года своей сестре Анне Ильиничне, ведшей его издательские дела: «Между прочим, если бы цензурные изображения оказались *очень* строгими, можно было бы заменить везде слово „поповщина“ словом „фидеизм“ с пояснением в примечании („фидеизм есть учение, ставящее веру на место знания...“).» (Полное собрание сочинений. Т. 55, стр. 259).

Это и было сделано, в результате чего ленинские высказывания против церковников приобрели довольно невинный вид.

В работе «Империализм, как высшая стадия капитализма» (1916) Ленин был вынужден, как он уже после Февральской революции указал в предисловии, «формулировать необходимые многочисленные замечания относительно политики с громадной осторожностью, намеками, тем эзоповским — проклятым эзоповским — языком, к которому царизм заставлял прибегать всех революционеров, когда они брали в руки перо для „легального“ произведения» (т. 27, стр. 301).

И далее Ленин пишет: «Особенно стоит отметить одно место... чтобы в цензурной форме пояснить читателю, как бесстыдно лгут

капиталисты и перешедшие на их сторону социал-шовинисты... по вопросу об аннексиях... я вынужден был взять пример... Японии! Внимательный читатель легко подставит вместо Японии — Россию, а вместо Кореи — Финляндию, Польшу, Курляндию, Украину, Хиву, Бухару, Эстляндию и прочие не великороссами заселенные области» (там же, стр. 302).

Другой прием эзоповского языка — писать так, чтобы у читателей возникли мысли и чувства, прямо противоположные тем, какие нарочно высказал автор. Черное называлось белым — в расчете, что прочтут наоборот...

Такой прием употребил Добролюбов в статье «Когда же придет настоящий день?» (1860). Сравнивая Россию с Болгарией, находившейся тогда под турецким игом, он писал: «Россия, напротив того, государство благоустроенное: в ней, как известно всем и каждому, существуют мудрые законы, охраняющие права граждан... в ней царствует правосудие, процветает благодетельная гласность... При существующем у нас благоустройстве общественном, каждому остается только упрочить собственное благосостояние...».

Все это говорилось для того, чтобы сметливые читатели вложили в каждое слово диаметрально противоположный смысл и вместо «мудрые законы» прочли — произвол властей, вместо «правосудие» — лихоимство, «гласность» — цензура, «благоустройство» — неурядицы, как это было на самом деле в крепостнической России.

Цензор, хоть и почувствовал инстинктивно что-то неладное, был лишен формальных оснований требовать запрета статьи. Он лишь вычеркнул из приведенного отрывка слова *всем и каждому*, еще более усугублявшие саркастическую иронию, которою было проникнуто это место статьи.

«Вообще, чтобы наши труды не пропали даром, — писал Н. А. Добролюбов С. Славутинскому в 1860 году, — необходимо говорить фактами и цифрами, не только не называя вещи по именам, но даже называя их иногда именами, противоположными их существенному характеру». Исходя из этого принципа, он помещал в «Свистке» под рубрикой «Отрадные явления» примеры, рисовавшие беззакония и произвол полиции.

Подобный стиль применялся даже в литературной критике. Написать о плохой книге, что она плоха — не слишком ли это просто? Не лучше ли похвалить ее, по так, чтобы похвала была хуже любой брани? Примером может служить рецензия И. С. Тургенева на альманах «Поэтические эскизы», напечатанная «Современником» в 1851 году: «Стихи г. Познякова не только не плохи — это в своем роде превосходные, великолепные стихи... Мы в нынешнее время не знаем ни одного стихотворца, произведения которого мы так желали бы видеть в печати».

Самый тон столь неумеренно расточаемых похвал настораживал и давал понять: рецензируемые стихи хороши «в своем роде», а именно тем, что возбуждают смех над их автором.

Широко применялся в эзоповском языке и псевдоперевод, позволявший перекладывать всю ответственность на мнимого автора. Н. А. Некрасов свои произведения, посвященные русской жизни и обличавшие реакцию, не раз помечал как переведенные с того или иного языка. Он сам говорит об этом: «В прежнее время иные мои стихотворения не прошли бы, если бы я не выдал их за переводы с какого-нибудь малоизвестного языка». Таковы: «Пророк», «Отрывки из путевых заметок графа Гаранского», «Смолки честные, доблестно павшие...».

Приемом мнимого перевода широко пользовались и другие русские писатели-демократы — Добролюбов, Чернышевский, Станюкович, Якубович. Последний пишет: «Горькая цензурная необходимость заставляла меня, как и большинство русских писателей, на каждом шагу прибегать ко всякого рода мелким компромиссам — пропускам, точкам, ослаблениям выражений, приписыванию собственных произведений перу иностранных поэтов, иногда совершенно вымышленных. Нейтральным флагом, под которым я провозил цензурную контрабанду своей музыки, были обыкновенно ирландский поэт О'Коннор и итальянский Цезаре Никколини — оба, насколько мне известно, никогда не существовавшие».

Писавшие эзоповским языком пользовались и каламбуром, и широй слов. Подпись «А муравьев-то, муравьев!» под рисунком, изображавшим муравейник у телеграфного столба, нохожего на виселицу, напоминала читателям о «подвигах» генерала Муравьева, усмирителя польского восстания 1863 года, прозванного «Муравьевым-вешателем». Строчку «И гнать, и гнать его!» можно было прочесть: «И гнать Игнатьева» — другого царского сатрапа, петербургского генерал-губернатора.

Иногда достаточно было поставить лишнюю запятую или убрать ее, чтобы придать фразе совсем другой смысл. Сделать это предоставлялось читателям.

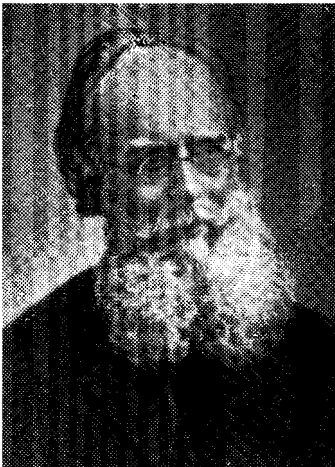
Наконец, еще одним приемом эзоповского языка было обличение настоящего под видом прошедшего. Салтыков-Щедрин отнес свою «Историю одного герода» к предыдущему веку, хотя в этой сатире осмеивался строй, современный автору.

Так, с помощью аллегорий, намеков, метафор, басен и ряда других хитроумных приемов прокладывали дорогу к читателям мысли борцов за лучшее будущее русского народа.

Валентин ДМИТРИЕВ

**Александр Афанасьевич
ПОТЕБНЯ**

1835—1891



А. А. Потebня — великий русский и украинский языковед и мыслитель, прогрессивный общественный деятель второй половины XIX века. Родился он 22 сентября 1835 года в село Гавриловке Роменского уезда Полтавской губернии в семье мелкопоместных украинских дворян. Учился в польской Радомской гимназии, в 1850 году (пятнадцати лет от роду) поступил на юридический факультет Харьковского университета, в 1852 году перешел на историко-филологический факультет, который блестяще окончил в 1856 году со степенью кандидата наук

(степень ему была присуждена за диссертацию на историческую тему «Первые годы войны Богдана Хмельницкого»). После окончания университета преподавал в 1-й Харьковской гимназии и готовился к сдаче магистерского экзамена по славянской филологии. В 1861 году А. А. Потebня защитил магистерскую диссертацию «О некоторых символах в славянской народной поэзии», а в 1874 году докторскую «Из записок по русской грамматике» (части 1-я и 2-я). В 1875 году замечательный ученый стал профессором Харьковского университета, а в 1877 году его избирают членом-корреспондентом Академии наук (находившейся тогда в Петербурге). Вся научная и педагогическая деятельность Потebни протекла в Харьковском университете.

Потебня не замыкался в рамки академической науки. Он любил украинский народ, Россию. Украинское и русское народное поэтическое творчество было постоянным объектом его исследования, вдохновляло творческую мысль. Он чутко прислушивался к нуждам народным, с интересом следил за студенческим движением, протестовал против произвола и насилия царских властей. В 1935 году, разбирая архив Потебни в Харьковском Центральном архиве стародавних актов, я видел его гневное письмо на имя министра просвещения, в котором он требовал прекратить репрессии против студентов. Протест ему не прошел даром. Как мне рассказывал его ученик А. В. Ветухов, целый учебный год на занятиях Потебни присутствовал полицейский чин, текст его лекций просматривался полицией, искавшей крамолу. Брат великого ученого Андрей Потебня, будучи офицером царской армии, подавлявшей восстание в Польше, перешел на сторону польских повстанцев, за что был казнен царскими властями. Андрей Потебня принадлежал к революционной интеллигенции, борющейся за свободу народов России и Польши. Его имя упоминалось в выступлении польской делегации, приехавшей в СССР на празднование трехсотлетия воссоединения Украины с Россией.

Умер А. А. Потебня в Харькове 11 декабря 1891 года в расцвете творческих сил, оставив после себя много неопубликованных законченных, а большей частью незавершенных работ. Некоторые его труды были напечатаны после смерти (например «Из записок по теории словесности». Харьков, 1905), другие еще ждут своего описания и публикации. Научные интересы Потебни были очень широки, познания весьма обширны. Предметом исследования ученого были фольклор, этнография, история литературы (следует особо отметить «Слово о полку Игореве. Текст и примечания». Воронеж, 1878; издание второе. Харьков, 1914), общие проблемы литературоведения, вопросы философии, но прежде всего и главным образом язык.

Из лингвистических работ наибольшее значение имеют «Мысль и язык» (СПб., 1862; пятое издание, Харьков, 1926) и скромно озаглавленный капитальный труд «Из записок по русской грамматике», составивший эпоху в русском языкознании и во многом не утративший значения и в наше время. «Из записок по русской грамматике. I. Введение» и «Из записок по русской грамматике. II. Составные члены предложения и их замены в русском языке» были опубликованы в Воронеже и Харькове в 1874 году (второе издание II части, исправленное и дополненное автором. Харьков, 1888).

Третья часть «Об изменении значения и заменах существительного» была издана после смерти Потебни вдовой ученого и его

учениками. Нужно заметить, что Потебня писал свою работу по частям, нумерация рукописи была сбивчивой и часто менялась, поэтому расположение глав третьей части «Из записок по русской грамматике» оказалось в некоторой степени произвольной, чего, впрочем, ввиду неясно выраженной воли автора, избежать было нельзя.

В еще большей степени это можно сказать о продолжении «Из записок по русской грамматике. IV. Глагол. Местоимение. Числительное. Предлог» (М.—Л., 1941), подготовленном к печати А. В. Ветуховым, М. Д. Мальцевым и Ф. П. Филиным (с предисловием Ф. П. Филина). Написанные мелким бисерным («потебневским») почерком разрозненные части и отдельные листки, лежавшие в архиве в беспорядке, поставили составителей перед очень трудной задачей не только установления расположения частей, но и выбора, что нужно печатать, а что следует отложить. Если бы рукопись IV (условно так названной) части готовил к выпуску сам Потебня, он бы в ней несомненно многое доработал и она приобрела бы более стройный и законченный вид. Критические замечания, появившиеся на издании IV части, с моей точки зрения, были еще более произвольными. Полный порядок мог установить только сам автор. И все же самое главное было сделано: продолжение текста знаменитого исследования Потебни стало доступным для читателей. В дополнение к нему, по-видимому, можно было бы еще кое-что напечатать по бумагам, хранящимся в архиве. Издания «Из записок по русской грамматике» давно уже стали библиографической редкостью, поэтому мы должны быть благодарны В. И. Борокзовскому, переиздавшему I—II (М., 1953) и III (М., 1963) тома этого замечательного труда.

Исследования Потебни основывались на обширном языковом материале. Кроме славянских языков, Потебня знал языки бантийские, классические (древнегреческий и латинский), санскрит, не говоря уже о французском и немецком.

Взлет творческой деятельности Потебни по времени совпал с расцветом русской науки второй половины XIX века. В химии поднимаются такие гиганты, как Менделеев, Бутлеров, Мещеряков; в биологии — Сеченов, Фаминин, Тимирязев; в геологии — Ковалевский и Кронский; в языкознании — Фортунатов, молодой Шахматов... Это время крупных открытий, широких горизонтов, смелых теоретических исканий.

Самое главное для нас в трудах Потебни — исторический подход к языковым явлениям. «...Поверхность языка, — писал он, — всегда более-менее пестреет оставшимися наружи образцами разнохарактерных пластов ...стараясь сколько-нибудь определить пропорции, в каких на обращенной к нам поверхности языка смешаны

разнохарактерные явления, вместе с тем приходим к необходимости выяснить их характер, поставивши их в ряды других, с ними однородных» (Из записок по русской грамматике. I, II. Харьков, 1888).

Для того чтобы определить историческое место «разнохарактерных пластов», Потебня выдвигает свою концепцию развития языка и мышления с древнейших эпох до нашего времени. В основу этой концепции он кладет критически переработанные философские взгляды Гербардта, Гумбольдта, Штейнталя, Лацаруса и некоторых других философов и лингвистов (философские истоки концепции Потебни были охарактеризованы мною в работе: Ф. Филин. Методология лингвистических исследований А. А. Потебни. Язык и мышление. III—IV. М.—Л., 1935; теперь, 36 лет спустя, многое было бы оценено мною иначе), а главное — свои обширные наблюдения над фактами языка.

Ключом к его концепции является понимание «внутренней формы» слова, которая определяется как «способ представления внеязычного содержания». Слово не может изобразить все свойства и качества обозначаемого им предмета; оно может назвать только один из его признаков. Например, слово *подснежник* обозначает известный цветок, имеющий множество качеств и свойств (цвет, устройство лепестков, листочков, стебелька и корней, сложный химический состав и т. д., и т. п.), но самое слово *подснежник* называет только лишь один признак данного цветка — «находящийся под снегом, выходящий из-под снега». Вот такое название или представление и есть «внутренняя форма» слова. Каждое слово при возникновении имеет свою «внутреннюю форму». Впоследствии многие слова ее утрачивают, и настолько основательно, что этимологам приходится только гадать о ней. Почему, например, дерево дуб когда-то было названо *дубом*? Слово *дуб* возникло так давно, что о его первичном значении можно высказывать только догадки (см., например, М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка).

Однако слова, утратившие свою «внутреннюю форму», не являются мертвыми для языка. От слова *дуб* образуются производные, например: *дубовик* — гриб, обычно растущий под дубом; о тупом человеке говорят, что он *дуб* (перенос значения). Не имеют «внутренней формы» заимствованные слова, но и они не представляют собой исключения: в языке, где они образовались, обязательно имели ее, а в заимствующем языке могут быть основой для новых слов (ср. китайское *чай*, которое не имеет в русском языке «внутренней формы», но от него образовано *чайничать* «проводить время за чашкой чаю»).

«Внутреннюю форму» имеют не только знаменательные слова, ее имели когда-то и слова служебные. Понятие «внутренней формы» (способа представления мира) применимо и к грамматическим формам, к синтаксису, ко всему строю языка. В древнейшее время мышление было чувственно-образным: свойства, признаки, действия предметов и человека не мыслились отвлеченно, не абстрагировались от предметов или человека, которым они принадлежали. В связи с этим Потебня считал, что известные нам грамматические категории: существительные, глаголы, прилагательные, наречия и др. — явления относительно поздних исторических эпох. В древнейшем чувственно-образном языке существовали только «первобытные имена», в которых в нерасчлененном виде обозначались и субстанции, и действия, и свойства. Сначала Потебня полагал, что первобытное имя более всего напоминало причастие, затем стал называть его «именем действующего лица (*nomen agentis*)». С постепенным развитием абстрактного мышления из первобытного имени вычлениются древние существительные и глагол-причастие, затем и остальные грамматические категории.

Свою теорию Потебня стремится подтвердить фактами из истории языка. Членные (местоименные) прилагательные — явление сравнительно позднее, они несомненно образованы от нечленных (именных) прилагательных (именное прилагательное *добръ* — местоименное *добръ* + *ѣ*, где *ѣ* — указательное местоимение *и*, откуда образовалось *добрый*). Именные прилагательные склоняются так же, как существительные (*добръ*, как *вѣтръ* или *дубъ*), что указывает на их единое происхождение от древних существительных: прилагательные когда-то отпочковались от этих существительных. Само согласование прилагательных с существительными свидетельствует о том же. Первичный тип согласования — сочетание существительного с существительным. «Атрибутивность существительного должна увеличиваться по направлению к древности. Если примеры этого явления обычны в недавно записанных памятниках народной словесности и живой речи простонародья и редки в древних памятниках, то это объясняется отвлеченностью и заимствованностью содержания этих памятников и бедностью их подражательного языка» (Из записок по русской грамматике. III. Харьков, 1899). Древнее существительное, став атрибутом (то есть постоянно употребляясь как определение), постепенно теряет свою субстантивную и превращается в прилагательное, в часть речи, обозначающую свойства и качества в их отвлечении от предметов (*белый* или *добрый* вообще, в применении к любой подходящей субстанции). Другие древние существительные специализируются только на обозначении субстанции, становятся существительными в современном смысле этого слова.

Из первобытного имени развивается и глагол как отвлеченное название действия. Причастия, совмещающие в себе по значению признаки глагола (действия) и прилагательного (атрибута), показывают, через какие ступени шло вычленение глагола. Самое отвлеченное обозначение глагольного действия — форма инфинитива. Однако, как свидетельствуют данные сравнительно-исторической грамматики, формы инфинитива на *-ти > ть* (писати > писать) представляют собой окаменевший дательный падеж имени. Следовательно, было время, когда теперешний наш инфинитив был именем-действием, изменявшимся по падежам как древнее имя существительное.

В тесной связи с возникновением и развитием частей речи находилась история членов предложения, из сочетания которых конструируется синтаксический строй языка. Согласно учению Потебни, чем далее в глубь времен, тем большей была однородность членов предложения. В отдаленную эпоху «первобытного имени», о которой можно судить только гипотетически, подлежащее и сказуемое (грамматические субъект и предикат) формально никак не отличались друг от друга и могли существовать только лишь как первобытные логические категории, проявившиеся в контексте речи. Лишь в процессе становления частей речи постепенно происходит вычленение современных членов предложения.

Общее направление развития синтаксиса улавливается даже на сравнительно коротких отрезках исторического развития: старославянский и древнерусский языки по некоторым важным синтаксическим особенностям заметно отличаются от современных славянских языков, в том числе и от русского. В старославянском и древнерусском наблюдается «недостаточное синтаксическое различие и даже безразличие глаголов служебных и знаменательных и такое господство в предложении начал согласования, при котором члены предложения, сравнительно с позднейшим языком, слишком однородны» (Из записок по русской грамматике. I, II, стр. 125). Например, современное составное сказуемое представляет собою как бы одно грамматическое понятие, в котором вспомогательный глагол выражает лишь некоторый оттенок мысли, тогда как в древнем языке части составного сказуемого до известной степени сохраняли свою первоначальную самостоятельность. В древнерусском языке многие глаголы (стати, хотѣти, пмати и др.) одновременно выступали и как знаменательные, и как вспомогательные. Да и самый глагол *быти*, употребляющийся теперь в чисто служебном значении или в значении абстрактного существования, когда-то имел конкретное значение. Потебня возводит его к древнейшему корню * *bhū-* 'расти', что не исключено: гипотезу о первоначальном значении 'расти' поддерживали Дельбрюк,

Острофф, Бернекер и другие языковеды. Что касается второй части составного сказуемого, то она в древнерусском языке обычно представлена причастием, прилагательным и существительным.

Особенно интересно, что древнерусское причастие действительного залога могло выступать как почти самостоятельный сказуемый центр предложения и отделяться от глагола-сказуемого союзом *и*. Типичным является оборот «Заутра вставъ и рече». Теперь мы не можем сказать: «На другой день встав и сказал», так как в современном языке *встав* — деепричастие, подчиненное глаголу (встав, сказал), тогда как в древнерусском *вставъ* было причастием, изменявшимся по родам, числам и падежам. Деепричастия сравнительно поздно развиваются из именных причастий (примерно с XIII—XIV вв.). «В древнем языке на месте нашего деепричастия стояло причастие, не имевшее непосредственного отношения к глагольному сказуемому. Поэтому можно думать, что в древнем „вставъ и рече“ присутствие союза делает лишь более явственным свойство оборота, существовавшее и без союза, именно то, что в предложении — два почти — равносильных центра; что к первому из них, подлежащему, тянет приложение; что предложение, чуть сдерживая свое единство, еще как бы распадается на двое, что, однако, не тождественно с полным его раздвоением, которое могло бы быть достигнуто превращением аппозиции в составное сказуемое» (там же, стр. 187; аппозицией Потебня называет причастие, образующее в предложении почти самостоятельный сказуемый центр). Обнаружение аппозитивных причастий в их особой синтаксической роли в древнерусском языке — большое открытие Потебни, ставшее одним из краеугольных камней исторического синтаксиса. До А. А. Потебни древнерусские обороты вроде «вставъ и рече» или «Олежь же устремися на Суждаль *и шедъ* Суждалю» обычно считались описками.

Важным открытием Потебни является также установление в древнерусском языке оборотов со вторым именительным и вторыми предикативными косвенными падежами (родительным, винительным и дательным) и их дальнейших изменений. Ср. примеры на второй именительный падеж с глаголами *быти, стати, съдѣлатися, прѣбыти, стояти, съдѣти* и другими (преимущественно обозначающими состояние): «Суть же кости его и досель тамо лежаче» (буквально — лежачие); «Прѣбысть алченъ и жаденъ» (Пребывал голодный и жаждущий); «Вышегородъ второй Селунь явися в Русьстѣи земли» (Вышегород стал вторым Солунем в Русской земле) и т. п. Постепенно второй именительный падеж заменяется другими формами (кости лежат; пребывал голодным и жаждущим; стал вторым Солунем); личными формами глагола, творительным предикативным падежом, инфинитивом, сложноподчиненным обо-

ротом и т. п. Употребление второго именительного падежа значительно сузилось. Ср. в современном языке: «Он был рыбак» наряду с поздней по происхождению конструкцией «Он был рыбаком».

Тот же процесс замены различными формами происходит и в категории вторых косвенных падежей, широко употреблявшихся в древнерусском языке: «ты, брате мой, нарекъ мя старѣйшину собѣ» (буквально — назвал меня старейшину, то есть старейшиной); «Мьстиславъ не вѣды своихъ побѣженныхъ» (не знал своих побежденных, то есть не знал, что свои побеждены) и т. д.

Устранение параллелизма из двух почти равноправных сказуемых центров, замена параллельных вторых падежей и ряд других изменений свидетельствуют о дифференциации грамматических значений, о сложении «более компактного» строя предложения, об общем процессе развития и усовершенствования семантико-грамматической структуры языка. Потемнина решительно восстает против распространенных в его время взглядов, согласно которым разрушение древней флективной системы является регрессом языка. Наоборот, с развитием общества и обогащением мышления язык не регрессирует, а прогрессирует.

Прошлое, история языка интересовали великого ученого прежде всего как средство объяснения современной языковой структуры. Проблемы современности всегда приковывали его внимание. Очень важным событием в истории отечественного языкознания явилась критика Потемниной формально-логического понимания языка, широко распространенного в то время и в новых формах существующего в наше время, и позитивное освещение им взаимоотношения членов предложения и частей речи. Представители формально-логического направления отождествляли предложение и логическое суждение, члены предложения с членами логического суждения. Такое отождествление смазывало специфические особенности языковых категорий, игнорировало различия между языками: ведь «индивидуальные различия языков не могут быть понятны логической грамматике, потому что логические категории, навязываемые сию языку, народных различий не имеют». Грамматических категорий значительно больше, чем логических.

Что такое, например, подлежащее? Для формально-логической грамматики это то, о чем говорится в предложении (логический субъект). «Паллада любит Улиса»; «Палладою любим Улиса»; «У меня нет книг»; «Курить воспрещается» и т. п. — в этих предложениях логический субъект (подлежащее) — Паллада, Палладою, меня, курить и пр. Потемнина решительно восстает против такого понимания подлежащего, не считающегося с грамматическими формами. «Существенный признак предложения в наших языках состоит в том, что в предложение входят части речи; если их нет,

то нет и нашего предложения». Для него подлежащее — имя в форме именительного падежа. С позиций частей речи и их форм он рассматривает всю структуру предложения. Учение Потебни о частях речи и членах предложения сохраняет свою актуальность и в настоящее время, хотя ему и не удалось решить до конца сложную проблему взаимоотношения логики и грамматики.

После смерти Потебни прошло восемьдесят лет. Многие за это время изменилось в науке о языке. Поступательное развитие лингвистических знаний далеко не все подтверждает в его концепции, особенно в исходных философских позициях. Это и понятно — наука не стоит на месте, а в наши дни она, опираясь на марксистско-ленинскую методологию, продвигается особо бурными темпами. Однако мы никогда не должны забывать одну непреложную истину — не было бы наших предшественников, не было бы и нас. Среди лингвистов прошлого Потебня занимает выдающееся, особо почетное место. Нередко бывает, что ученый при жизни пользуется шумным успехом, а после смерти его скоро забывают. Научная и общественная значимость Потебни проверена временем. Он не забыт. Его имя носит Институт языковедения Академии наук Украинской ССР в Киеве. В родном ему Харькове есть улица Потебни. Но дело не только во внешних признаках почитания. Труды А. А. Потебни и теперь служат и долго будут служить науке о языке. Светлый образ ученого сохранит еще не одно поколение языковедов.

Член-корреспондент АН СССР
Ф. П. ФИЛИН



Знание точного значения слов и их различия между собою, хотя бы и самого легкого, есть необходимое условие всякого истинного мышления, ибо слова суть выражения понятий, а можно ли мыслить, не умея отличать, во всей тонкости, одного понятия от другого?

Белинский И. Общее значение литературы

РОСТОВЧАНЕ, ПСКОВИЧИ, КОКЧЕТАВЦЫ



нашем языке есть группа слов, образование которых затрудняет даже людей, свободно владеющих русской речью. Это названия лиц по местности (по

терминологии Ломоносова — «отечественные имена»). Обратимся к кокчетавской областной газете «Степной маяк» (8 октября 1967): «На одном уроке русского языка учитель предложил образовать слова, обозначающие жителей городов Кокчетав, Брянска, Пскова, Ростова, используя суффиксы *-ец*, *-ич*, *-чан*. Ребята образовали такие слова: кокчетавец, псковец, ростовец, ростовчанин. Итак, для названия жителей Ростова были использованы два суффикса: *-ец* и *-чан*, а вот жителям Брянска не повезло: их вообще не смогли назвать». Почему же ученики ответили именно так? Ответить на это «почему» — значит рассказать об основных современных способах образования существительных — наименований лиц по местности.

Эти слова — ровесники и спутники наших городов и сел. Некоторые из них принадлежат древнему слою русской лексики; они встречаются уже в первых наших летописных известиях (конец X века): «...инпи сѣдоша на Двинѣ и нарекошася Полочане, рѣчьки ради яже втечетъ въ Двину, имянемъ Полота отъ сея прозвашася Полочане» (Повесть временных лет). Великое множество географических имен, от которых образованы наименования жителей (название городов, деревень, рек, исторических или естественных территорий и т. п.), диалектная основа общерусского языка, тысячелетнее существование в нем суффиксально несхожих названий, возможность и сегодня обра-

зовывать их по разным словообразовательным моделям — все это привело к поразительной пестроте нынешних слов — названий жителей. В самом деле: Кострома — костромич (-ич), Новгород — новгородец (ец), р. Полота, г. Полоцк — полочане (-анин/-янин), Мурманск — мурманчанин (-чанин), Псков — псковитянин (-итянин), Гдов — гдовичанин (-ичанин), Пермь — пермяк (-ак/-як), р. и г. Вытегра — вытегср (нулевой суффикс), Дальний Восток — дальневосточник (-ник), Волга — волгарь (-арь), Одесса — одессит (-ит), р. Вага — ваган (-ан), г. Сим — симач (-ач), г. Макарьев — макарята (-ата/-ята), р. Ветлуга — ветлугай (-ай) и др. Всего около двадцати суффиксов. Конечно, не все они употребительны в литературном языке.

Двадцать суффиксов — немало для выражения одного, отечественного значения. Подсчеты все ставят на свои места. Оказывается, три четверти нынешних слов — названий жителей образованы с помощью суффикса *-ец*, одна пятая — посредством *анин/-янин* и *-чанин* в оставшиеся пять процентов входят все остальные суффиксы (подсчет сделан по «Словарию названий жителей РСФСР». М., 1964; сейчас готовится второе, значительно расширенное его издание, охватывающее также союзные республики и зарубежные страны).

Подсчет прежде всего показал, что степень употребительности этих суффиксов различна. Возьмем суффикс *-ич*. С его помощью образуются названия жителей многих древних городов: вязьмичи, гдовичи, москвичи, островичи, порховичи, псковичи, сормовичи, тотьмичи, холмичи, чухломичи, яраничи и др., но в сегодняшнем словообразовании он уже не принимает участия, эту способность он давно утратил. Справедливо не нашли применения ему и кокчетавские школьники, в их сознании суффикс *-ич* мертв. И тем не менее их ошибка налицо: жителей Пскова исстари и по сей день именуют псковичами (изредка псковитянами) и никогда — псковцами.

Отсюда следует вывод, что некоторые названия жителей не подчиняются правилам сегодняшнего словопроизводства. Такие названия (на *-ич*, *-ак/-як* и др. редкие суффиксы) пришли к нам с языком отцов и дедов, их надо просто знать и помнить. В этом состоит первая особенность нынешней отечественной лексики.

Кокчетавские школьники неслучайно из четырех слов — названий жителей три образовали с помощью суф-

фикса *-ец*. Он не только наиболее употребителен, но и один из самых древних. В «Повести временных лет» под 1096 годом находим: «къ Мстиславу же собращася дружина въ ть день и в други, Новгородци и Ростовци и Бѣлозерци». До сих пор основная масса существующих в языке и большинство вновь образуемых слов — наименований жителей используют в качестве словообразовательного кирпичика суффикс *-ец*. Вот почему школьники Кокчетавы правильно называли себя кокчетавцами. Сила суффикса *-ец* — в непреходящей активности, слабость — в некоторых исторических его особенностях.

Бросается в глаза общность основ оттопонимических прилагательных на *-ск(ий)* и названий жителей на *-ец*: Баку — бакинский — бакинец; Дели — делийский — делийцы; Ленинград — ленинградский — ленинградец; Орел — орловский — орловец и т. п. Эта общность исторически мотивирована.

В старославянском языке суффикс *-ск-* свое общее значение отношения к тому, что выражено основой, в соединении с географическими именами конкретизировал как отношение к местности, практически — как происхождение из нее (Назарет — назаретскъ). Древнерусский пример: «Святополкъ же приде ночью Вышегороду, отаи [тайно] призва Путню и Вышегородскыѣ боярьцѣ» (Повесть временных лет, под 1015 г.). При образовании существительных со значением происхождения общий смысл отношения, заключенный в суффиксе *-ск(ий)*, неизбежно переносился на суффикс *-ец*, то есть «прилагательное на *-скъ* уравнивалось с существительным на *-ць*» (А. А. Потебня. Из записок по русской грамматике. Т. II. М., 1968). Поэтому: вышегородские бояре — бояре-вышегородцы, горожане ореховские — горожане-ореховцы и т. п. Названия на *-ец* оказались структурно связанными с основами оттопонимических прилагательных на *-ск-* (иных оттопонимических прилагательных русский язык не знает), а по значению с сочетаниями: видовое определяющее (оттопонимическое прилагательное) + родовое определяемое (люди, жители и под.): «Казмир король... всѣмъ бояромъ брянскимъ и всѣмъ мужомъ брянцомъ» (1450). Со временем в русском языке появилось тройное обозначение обитателей, к примеру, того же Брянска: брянские жители, брянские (так называемая субстантивация: «А сам из каких мест? — Брянский». Чаковский. У нас уже утро) и брянцы.

Структурная зависимость основ отечественных наименований на *-ец* (см.: «Русская речь», 1967, № 1) от основ оттопонимических прилагательных на *-ск(ий)* установилась в далеком прошлом. Ныне мы прямо (минуя «прилагательное» звено) связываем основу топонима с основой отечественного имени, особенно если они совпадают: Воронеж — воронежцы. Приведем данные опроса, произведенного Г. И. Петровичевой. Из 212 лиц, которым предложили ответить на вопрос, от какой основы образованы слова *ленинградец* и *пензенец*, ответили: 197 — от *Ленинград* (15 — от *ленинградский*, то есть ленинградский житель, уроженец), 184 — от *Пенз-* (28 — от *пензенский*). Эти цифры показывают, что даже наше живое речетворчество не полностью затмевает исторически сложившееся словообразовательное правило. Оно немедленно обнаруживается, когда превращение смысловой производящей (топонимической) основы в структурно производящую (оттопонимическую) сопровождается какими-либо изменениями: Торжок — торжокский — торжокцы (торжокский — торжокцы), Уфа — уфимский — уфимцы (старинное: уфинский — уфинцы), Флоренция — флорентийский — флорентийцы (флорентинский — флорентинцы).

В языке действует объективная, не зависящая от нашего сознания словопроизводная цепочка: топоним → оттопонимическое прилагательное → отечественное слово. Эта цепочка осознается не всегда и обнаруживается при углубленном изучении именного словообразования.

Не следует забывать и того, что названия многих древнерусских городов — это застывшие основы кратких относительных прилагательных на *-ск-*: Брянск, Смоленск. Эта модель продуктивна и в современном русском языке: Хабаровск, Снежногорск. Наименования жителей таких городов (брянцы, смоленцы, снежногорцы, хабаровцы) уже заведомо образованы от прилагательной основы, хотя названия этих городов и выступают в качестве существительных.

К сказанному надо прибавить, что оттопонимические прилагательные появляются в практике раньше названий на *-ец*. Тем самым эти названия оказываются заранее структурно подготовленными. И последнее — место ударения в тех и других всегда совпадает: Астрахань — астраха́нский — астраха́нец.

Основная масса слов — названий жителей образуется с помощью суффикса *-ец* и при посредстве (не всегда

осознаваемом) основ оттопонимических прилагательных. Такова вторая отличительная особенность современных отечественных наименований.

Вернемся к кокчетавским ученикам. Они правильно образовали производные: Кокчетав — кокчетавец, Ростов — ростовец. Не повезло Брянску. Летописи знают лишь одно наименование его жителей — брянцы, но ныне оно как-то «не звучит», потому что заметно отстает от среднеслоговой нормы русских слов (брянцы — единственное двусложное отечественное наименование в наших летописях) и не имеет женского соответствия на *-к(а)* — брянка? Сейчас более употребительны слова *брянчане*, *брянчанки*.

Остается последний вопрос — почему юные кокчетавцы называли жителей Ростова по-разному: ростовцами и ростовчанами, точнее — почему их называли ростовчанами. Но прежде необходимо выяснить, с каким суффиксом мы имеем дело — *-анин/-янин* или *-чанин*.

В лингвистической литературе суффикс *-чанин* обычно рассматривается как фонетический вариант суффикса *-анин/-янин*. Исследования последних лет показали, что суффикс *-чанин*, зависимый от *-анин/-янин* исторически, к середине нашего века превратился в самостоятельную словообразующую единицу. Если суффикс *-анин/-янин* соединяется только с историческими основами топонимов, то суффикс *-чанин* — с основами оттопонимических прилагательных на *-ск(ий)*, как и суффикс *-ец*: Березовское — березовцы и березовчане (ср. березяне); Орел — орловцы и орловчане (ср. орляне); Смоленск — смоленцы и смоленчане (ср. смоляне). Суффикс *-анин/-янин* ныне утратил словообразовательную активность; его место занял *-чанин*, с веками перешедший в иной словообразовательный ряд.

Из того обстоятельства, что слова на *-ец* и *-чанин* соединяются с одними и теми же структурными основами, следует, что они способны к взаимозамене. Так оно и есть: Гусь-Хрустальный — гусевцы, гусевчане; Пола — полавцы, полавчане; Полтава — полтавцы, полтавчане. И кокчетавский случай: Ростов — ростовцы, ростовчане, при учете того, что *ростовчане* — сейчас более употребительная форма. Последнее требует пояснений.

Стать полным хозяином в образовании наименований жителей суффиксу *-ец* мешают не только старинные суффиксы *-анин/-янин* и др., по традиции удерживающиеся в

десятках и десятках слов, но и некоторые его собственные особенности.

Современное языковое сознание требует сохранять производящую основу без изменений; особенно это касается конечного согласного звука. Присоединение суффикса *-ец* (древнерусский *-ьць*) затрудняет выполнение этого правила, ибо вызывает смягчение предшествующего согласного. Наиболее затруднительны случаи с заднеязычными *г, к, х*: Чикаго — если не чикажец, то чикагец? Торжок — конечно, не торжочец, но и не торжокец; Талнах — то ли талнашец, то ли талнахец... Эти трудные случаи пока неподвластны и суффиксу *-чанин*, и тем не менее для него помех меньше: он — единственный из суффиксов, оформляющих названия жителей, начинается с согласного звука, что позволяет ему примыкать к производящей основе, не вызывая в ней каких-либо фонетических изменений.

В современном словообразовании поле деятельности суффикса *-ец* излишне обширно, и в этом его дополнительная уязвимость: соединяясь с любым именем собственным, он конкретизирует свое значение лишь в контексте. Суффикс *-чанин* предельно четок: он участвует только в образовании названий жителей городов; он превратился в знак, сигнализирующий о том, что перед нами отечественное имя.

Активность суффикса *-чанин* настолько велика, что его внимание начинают привлекать даже города с тысячелетней историей и, соответственно, со старинными наименованиями жителей: Ростов (Ярославская область) — ростовцы и ростовчане; Смоленск — смоляне, смольняне, смоляки, смоленцы и смоленчане. Крупный филолог прошлого века К. С. Аксаков отмечал, что нерусские названия городов не соединяются с исконно русскими суффиксами: «Как произвести название жителей, например, от Петербурга? Петербуржанин — все засмеются... Петербуржич — тоже смешно» (Несколько слов о нашем правописании). Суффикс *-чанин* переступает и это правило: Берн — бернчане (Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 49, стр. 108), Галлоп — галлопчане («Правда», 16 октября 1970), Цюрих — цюрихчане (Ленин, т. 46, стр. 97) (следовательно, и Талнах — талнахчане? Форма эта еще неизвестна, но теоретически возможна). Более того, суффикс *-чанин* становится своего рода символом: «Прошел год, и я

оказался в Энке. Во всех киосках унылыми пачками лежал „Молодой энчанин“» (Львов. Рубикон перейден!).

Активное вторжение суффикса *-чанин* в живое словообразование породило противоположные мнения: одни считают, что суффикс искусственно внесен в наш современный язык, другие — его активизация закономерна, ибо ничто в языке не происходит без необходимости.

Исследования последних лет укрепили мысль, что расширение позиций суффикса *-чанин* отвечает требованиям языкового прогресса. По-видимому, язык упорно вырабатывает суффикс с чисто отечественным значением.

Из сравнения словообразовательных особенностей суффиксов *-ец* и *-чанин* и сопоставления их с другими суффиксами того же значения следует, что образование слов — названий жителей непосредственно от основ топонимов (суффиксы *-анин/-янин*, *-ич*, *-ак/-як* и др.) — это затухающий словообразовательный способ; и что производство слов — названий жителей при посредстве основ относительных (оттопонимических) прилагательных — активный способ. Другими словами, суффиксальное многообразие в оформлении названий жителей в прошлом; ныне главную работу выполняют два суффикса-работяги: *-ец* и его младший брат *-чанин*.

Итак, производство основной массы отечественных имен от основ оттопонимических прилагательных и нагласительная деятельность суффикса *-чанин* — это третья и четвертая особенности словообразования и бытования внешних русских наименований лиц по местности.

Здесь не затронуты правила производства отечественных слов, обозначающих женщин, типа *новгородка*, *мурманчанка*. Об этом можно прочитать в обстоятельной статье Г. И. Петровиной «Идут ли „мамми“ в поселке Мама?» («Русская речь», 1937, № 6); в ней говорится о преимуществах суффикса *-чанн(а)* перед *-к(а)*.

Современная «отечественная» лексика не стоит на месте. Она на глазах растет количественно и меняется словообразовательно. Время покажет, к чему приведут ее современные словообразовательные тенденции. В ответах молодых кокчетавцев эти перемены и тенденции проявятся осязательно. Правильные и неверные ответы кокчетавских школьников — достоверный лингвистический факт, обнаруживающий живую ткань языка.

Е. А. ЛЕВАНОВ

Ленинград

ДУНИАДА?



лова *спартакиада*, *олимпиада* всем хорошо известны, они прочно вошли в наш обиход. Слово *универсиада* 'соревнование спортсменов-студентов' появилось сравнительно не-

давно, но и оно стало уже знакомым и привычным. Эти слова часто звучат по радио, встречаются в газетах.

В современном русском языке в слове *олимпиада* (наряду с которым существуют слова того же корня *олимп*, *олимпиец* и др.) выделяется суффикс *-иада*, знакомый нам и по ряду других слов. Более 20 лет назад суффикс *-иада* расценивался как малопродуктивный и несущий (в ряде образований) иронический оттенок значения. Академик В. В. Виноградов в книге «Русский язык» (М., 1947) писал: «Богато представлены в системе твердого женского склонения и суффиксы отвлеченных понятий. Сюда относятся... малопродуктивный суффикс *-ада* (*-иада*), образующий названия длительных действий (блокада, канонада), ряда одинаковых предметов (аркада, баллюстрада...), музыкальных, театральных, литературных (эпических по преимуществу) произведений (буффонада, арлекинадa, серенада, „Россиада“ и т. д.), спортивных состязаний (*-иада*: олимпиада, альпиниада, спартакиада), а также иронически употребляемый для обозначения событий или явлений, связанных с жизнью и деятельностью какого-нибудь лица».

В современных грамматиках (см., например, «Грамматику современного русского литературного языка» АН СССР. М., 1970) суффикс *-иада* рассматривается уже как вполне нейтральный и продуктивный. Слово *спартакиада* было создано для обозначения соревнований рабочих спортивных организаций. Сравнительно недавно по образу и подобию этого слова, имеющего значение 'соревнования по различным видам спорта спортсменов разных обществ' (а не только общества «Спартак»; ср.: спартакиада Вооруженных сил; спартакиада профсоюзов), было образовано слово *универсиада*. А в последнее время, точнее в 1970 году, в спортивной печати появилось слово *динамиада*, которое означает 'соревнования спортсменов только общества «Динамо»'.

Но и это слово оказалось не последним в ряду новых слов, образованных с суффиксом *-иада*. В феврале 1971 года в газете «Вечерний Ленинград» читаем: 19 февраля — „Дуниада“ — музыкальное обозрение, посвященное творчеству И. О. Дунаевского». А несколько дней спустя в рецензии на это обозрение в той же газете сказано, что *дуниада* — ‘театральное представление, где все помера объединены в единое целое’.

Возникновение новых слов — явление закономерное. Но как мы должны относиться к такому, например, слову, как *дуниада*? Правоммерно ли оно? От каждого ли слова можно образовать новые, в данном случае с суффиксом *-иада*?

Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся опять к слову *дуниада*. Если бы не пояснение, данное в объявлении, то было бы очень трудно догадаться, что это слово образовано от фамилии Дунаевский. Такое образование возможно от имени Дуня, причем звучать оно будет действительно иронически. Авторы слова *Дуниада*, думается, не стремились к тому, чтобы их детище получило ироническое звучание.

Образование с суффиксом *-иада* от фамилии Дунаевский представляется нам в данном случае неверным, ведь сложный суффикс *-овский, -евский* сохраняет первую часть при образовании слов на *-иада, -иана* и т. п.: Маяковиана (о произведениях В. В. Маяковского), Маяковка (разговорное; площадь Маяковского) и др. Но беда не только в том, что полученное образование по звучанию абсолютно совпало с забавным производным от имени Дуня и угадать в нем фамилию композитора по крохотному ее кусочку просто невозможно. Авторы вообще не посчитались со смыслом, который может приобрести образованное таким способом слово. В русском языке слова с суффиксом *-иада (иада)*, образованные от личного имени, будут обозначать скорее ряд деяний, связанных с этим именем, некую эпопею, причем чаще всего с ироническим оттенком.

В заключение хотелось бы задать вопрос авторам слова *дуниада*: как они назовут обозрение по произведениям Кабалевского или Шостаковича? Не лучше ли в этом случае вспомнить такие слова, как Штраусиана, Шопениана, Моцартиана, и обратиться к суффиксу *-иана*, не забывая, разумеется, о том, что и этот суффикс, как и суффикс *-иада*, можно применить далеко не ко всякому имени. Таким образом, для обозначения музыкального обозрения произведений И. О. Дунаевского можно было бы (если это так необходимо) образовать слово *Дунаевиана* в полном соответствии с законами словообразования современного русского литературного языка.

В. С. ФИЛИППОВ

СЛУЖЕБНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР

Нам говорят слово, а мы в ответ —
десять, потому что не умеем гово-
рить коротко.

А. П. Чехов. Хорошая новость



деятельности любого учреждения, предприятия, организации служеб-
ный телефонный разговор высту-
пает как необходимое средство
делового общения. С точки зрения
работника телефонного узла, все служебные разговоры делятся в
зависимости от затрачиваемого времени на трех-, пяти-, десяти-
минутные и бессрочные. Искусство ведения телефонных разгово-
ров заключается в том, чтобы в минимально короткий отрезок ре-
чи сообщить все, что следует, и получить ответ.

Для примера приведем описание И. Смирновым, на которого
была возложена оборона Московско-Казанской железной дороги,
телефонного разговора с В. И. Лениным:

«Перед назначением меня вызвали к телефону и сказали, что
со мной будет говорить В. И. Ленин.

— У телефона Ленин! — услышал я голос Владимира Ильича...

— Товарищ Смирнов, вы хорошо знакомы с состоянием доро-
ги? — спросил Ленин. — Я имею в виду техническое состояние пу-
тей, политическое мне известно, — добавил Владимир Ильич.

— В общем и целом знаком, — ответил я ходячей в то время
фразой.

— Гм... — услышал я. А в частности, в каком состоянии нахо-
дится линия Люберцы — Муром? Может она пропускать товарные
поезда?

— Эта линия еще не готова к движению по ней товарных по-
ездов...

— С какой скоростью может идти по этому маршруту обычный пассажирский поезд? — снова спросил Ленин.

— Со скоростью не более 10 километров в час, Владимир Ильич! Но у нас был случай: для подавления эсеровского восстания в Муроме мы послали отряд красногвардейцев, и поезд шел со скоростью не менее 30 километров в час.

— Спасибо, товарищ Смирнов! — ответил Владимир Ильич и положил трубку» («Известия», 27 марта 1970).

Все вопросы В. И. Ленина были сформулированы точно и лаконично.

Содержание служебных разговоров по телефону обусловлено ситуацией. В деятельности любого учреждения можно установить тот круг тем, которые дают повод для диалогов по телефону. Композиция их складывается из следующих элементов.

1. Момент установления связи. Первые фразы по телефону служат средством представления сторон друг другу:

- У телефона Фролов.
- С вами говорит...
- К вам обращается...

Избыточная информация в разговоре в момент установления связи объясняется тем, что разговаривающие не видят друг друга. Очень часто можно услышать: «Я у телефона». И тогда в трубке раздается: «Простите, с кем имею честь говорить?». Неумение начать говорить по телефону приводит к такому набору фраз: «Моя фамилия... Я приехал из... Звоню из... Дело вот в чем...».

Установление связи «воспроизводится» в течение всего диалога. Даже тогда, когда разговор переходит в монолог, собеседник через определенные отрезки речи должен подтвердить, что информация «принята». Если в обычном разговоре это достигается кивком головы, жестом, то в разговоре по телефону прибегают к репликам:

- Совершенно верно.
- Разве не так?
- Все понятно...
- Так, так...
- Правильно...
- Понимаю...
- Да, да...

Реплики сопровождают весь ход диалога. Вот фрагмент из разговора начальника отдела сбыта завода с представителем железной дороги:

- Чтобы отгрузить селекторы, нужны...
- Я вас понял. Вагоны дадим.

2. Постановка вопроса. Введение в курс дела. Как правило, началом диалога служит изложение причины, побудившей обратиться с вопросом по телефону:

— Вынужден обратиться к вам (поставить вопрос... напомнить...)

— Мне поручено...

Тема может быть сформулирована в виде вопроса:

— Иван Павлович, вы не забыли...

— Нас интересует такой вопрос...

Основной источник избыточности в этом случае — неумение сформулировать вопрос.

Динамизм разговору придают вопросы альтернативного характера:

— Можно рассчитывать на вашу помощь?

— Можно надеяться, что вы не забудете...

— Нельзя ли было бы возобновить наш разговор?

3. Обсуждение ситуации начинается с ответа на первый вопрос. Отвечая, другая сторона должна сформулировать свое отношение к затронутому вопросу или сообщить интересующие «собеседника» факты о конкретных действиях, которые она намерена предпринять:

— Трубы будут.

— Станки отправим обязательно.

— Деньги перечислим.

— Могли выделить только два места.

Здесь чрезвычайно высок процент глагольных форм. Оглагольные существительные вообще почти не употребляются в устной речи в отличие от письменной.

4. Заключительные слова. Последние слова в служебном разговоре подтверждают, что разговор окончен. Сложилась особая формула речевого этикета, которые в свою очередь обусловлены требованиями этикета вообще. Этикет требует, чтобы мужчина опустил трубку после того, как ее опустит женщина, молодой человек не может прекратить разговор до того, как кончит говорить человек старше его по возрасту, а подчиненное лицо в служебном разговоре может опустить трубку после того, как это сделает лицо вышестоящее.

Незнание этикета и является источником чрезмерной избыточности в служебных разговорах по телефону. Обмен любезностями затягивается, как правило, в тех случаях, когда разговаривающие отделены друг от друга большим расстоянием. Технические помехи (плохая слышимость), наоборот, сокращают время ведения разговора.

Однако если не принимать во внимание требования этикета вообще, последние слова произносит тот, кто получил ответы на все свои вопросы, послужившие поводом для разговора. Он и заключает:

- Благодарю вас.
- Всего хорошего.
- Договорились.
- Согласен.
- Надеемся, до свиданья.
- Спасибо.
- Хорошо и т. д.

Но нередко в конце разговора стороны повторяют уже сказанное, чтобы еще раз убедиться в том, что другая сторона именно так понимает сложившуюся ситуацию. Такие разговоры затягиваются и производят впечатление скомканности. Еще хуже, когда стороны начинают размышлять, бросая реплики:

- Как будто все...
- Кажется, все...
- Ничего не забыл?! Кажется, нет...

Такие «финалы» складываются в служебных разговорах, не подготовленных и не продуманных заранее.

Иногда сторона — инициатор разговора, желая вернуться к теме разговора, произносит:

— Позвольте сохранить за собой право позвонить еще раз?
Или:

— Разрешите еще раз вернуться к теме разговора?

Официальный служебный разговор по телефону происходит, если придерживаться терминологии юристов, между юридическими лицами. Стороны обязаны выразить не свое, личное, мнение, а общественные интересы по затронутому вопросу. Эта тенденция еще сильнее проявляется в языке деловой переписки: известно, что деловые письма, как правило, излагаются не от первого, а от третьего лица.

В отличие от письма служебный разговор происходит как бы между «физическими» лицами. Интересно обратить внимание на такую закономерность — инициатор служебного разговора часто выступает во множественном числе:

- Нас беспокоит вопрос...
- Нас волнует состояние дел...

Местоимение *нас* как нельзя лучше оттеняет то обстоятельство, что постановка вопроса исходит не столько от лица юридического — предприятия, организации, учреждения, сколько от лица конкретного или конкретных («физических») лиц. Поэтому служебный разговор сохраняет форму живого человеческого общения,

хотя личное отношение к теме разговора может и не быть выражено в прямой форме, что видно из следующего диалога:

- Какой у вас сейчас план?
- Двести машин в сутки.
- И сколько вы делаете?
- Двести.
- А рекорд какой у вас был?
- Двести пятьдесят. Больше не вытянули.

Нельзя забывать, что несмотря на иллюзию пространственной близости говорящих по телефону, их всегда разделяет невидимая «перегородка», которую условно можно назвать технической. Эта перегородка в значительной степени определяет структуру телефонных диалогов, поскольку разговор по телефону представляет, как уже отмечалось, именно диалог, ограниченный временем, но не расстоянием.

Наличие технической перегородки вызвало к жизни ряд реплик корректирующего свойства:

- Вы меня слышите?
- Простите, я не ошибся?
- Простите, правильно ли я вас понял?
- Не могли бы вы повторить?
- Простите, вы сказали...

Такие реплики, обеспечивающие непрерывность разговора, вносят избыточную информацию в телефонный разговор, но эта информация оправданная. Еще академик Л. В. Щерба писал, что структура предложения в устной речи напоминает структуру реплики в отличие от монолога, что характерно для письменной речи: «...структура реплики... и структура монолога различные. Репликам абсолютно не свойственны сложные предложения, которые являются уделом лишь монолога. Зато в монологе обыкновенно не бывает неполных предложений, из которых нормально состоят все реплики» (Избранные работы по русскому языку. М., 1957).

Самая обычная вещь в служебных разговорах — перебивания. Диалоги поэтому изобилуют паузами.

Пауза в телефонном разговоре выполняет роль сигнала, адресованного другой стороне с целью получить подтверждение, что информация принята. В целом пауза в речи выполняет ту же роль, что запятая, точка с запятой, тире, двоеточие и другие знаки препинания на письме. Она может означать, что разговор окончен, что мысль завершена, позволяет избежать перебивания речи и создает ритм в разговоре. Умение вести телефонный разговор в значительной степени заключается как раз в том, чтобы вовремя сделать паузу и тем самым предоставить возможность другой стороне высказать свое отношение к рассматриваемому вопросу. Па-

узы возникают также при нежелании раскрыть свои чувства, при нежелании комментировать сказанное и, конечно, при недостатке слов, что нельзя не учитывать, поскольку в телефонном разговоре времени на обдумывание бывает мало.

Лаконизм телефонного разговора достигается за счет вопросов, требующих конкретного и короткого ответа:

— Кто заказчик?

— Когда линия вступит в строй?

— Кому нужна наша помощь?

Ответом могут служить неполные предложения.

Вопросы, которые требуют развернутого ответа, создают основу для монологической речи:

— Что мы должны сделать в этом случае?

— Какой результат вы ожидаете?

— На что вы рассчитываете?

Такие вопросы значительно отодвигают момент обсуждения ситуации — важнейший момент в разговоре по телефону. Ритмично построенный телефонный разговор напоминает парный танец. «Ведущим» оказывается тот, кто в прямой или косвенной форме задает вопросы.

Интересно отметить, что процент восклицательных предложений в устной речи гораздо выше, чем в письменной. «Само собой разумеется,— заявляет В. М. Лейчик в статье „Особенности устной формы речи“,— интонация восклицания, передаваемая на письме одним только восклицательным знаком, гораздо богаче в устной форме — от повышения голоса до крика» («Филологические науки», 1970, № 3).

Средством придать большую убедительность высказыванию может служить риторический вопрос:

— Разве мы не предупреждали вас еще в январе?!

— А что нам оставалось делать?!

Очень много в диалогах по телефону вводных слов, слов с модальным значением, оборотов и предложений, появление которых зависит от ряда психологических причин. Как правило, они служат для подчеркивания сказанного:

— Может быть, вы все-таки согласитесь (на наше предложение)?

— К сожалению, ничем помочь не можем. Ищите сами выход...

Чужие слова в виде прямой речи вводятся без специальной интонации цитирования:

— Пришлите, пришлите... Слышали уже... Мы же сказали, вышлем. Немножко потерпите...

Нежелательную избыточность в диалог по телефону обычно приносят повторы — возвращение к уже высказанному.

Казалось бы, стороны уже достигли согласия, однако по инициативе одной из сторон начинаются уточнения:

— Хорошо, такое письмо подготовим. Расходы возьмем на себя...

Повторения не требуют предварительного обдумывания и потому часто используются в разговорах по телефону.

Установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные. Поэтому в устной речи редко употребляются сложные предложения, причастные и деепричастные обороты. Сложные предложения как бы разбиваются на простые, и информация передается по частям. Границей фразы служит пауза. Поэтому очень редко употребляются союзы и союзные слова: потому что; так как; вследствие этого и т. д.

П. В. ВЕСЕЛОВ

ТРАЙЛЕР ИЛИ ТРЕЙЛЕР?



Английское слово trailer [treilə] вошло в русский язык в 30-е годы XX века, когда советская автотракторная промышленность приступила к созданию крупносерийного и

массового производства автомобилей и тракторов. Оно обозначает автомобиль-тягач и прицеп к нему, представляющий собой открытую удлиненную платформу, которая в зависимости от назначения бывает с закрывающимися бортами или без них. Такая конструкция тягача с прицепом получила вскоре очень широкое распространение. В наши дни подобные автомобили используются для перевозки самых разнообразных грузов, как крупногабаритных и с большим весом (железобетонные и металлические конструкции, контейнеры, трубы и т. д.), так и малогабаритных и легковесных (А. Г. Гильдебранд, М. Ю. Вага. Англо-русский и русско-английский автомобильный словарь. М., 1933).

Это заимствование получило на страницах нашей печати крайне неустойчивое написание — *трайлер* — *треллер* — *трейлер*: «Авто-

поезд, во главе которого находился 120-тонный трейлер, ведомый двумя мощными „КрАЗами“, покинул Донецк ранним утром» («Известия», 26 ноября 1968); «Большегрузные автомобили, подобно... тягачу с трейлером, будут двигаться по этой улице в один ряд...» («За рулем», 1964, № 9); «— Так вот что, — заявил прораб, — раз нет „Волги“, то дадите мне кран, треллер, трактор и людей для вывозки металлоконструкций» («Правда», 12 марта 1970). Во 2-м издании «Большой Советской Энциклопедии» дается иное написание — *трейлер*.

Какой же из этих вариантов следует считать оправданным?

Этимология этого слова вполне прозрачна. Оно образовано от английского глагола *to trail* [tə'treil], который отличается необычайной смысловой отвлеченностью. Его основные значения: «тащить(ся), волочить(ся); прокладывать путь; отставать; идти по следу; протоптать (тропинку); свисать (о растениях); трелевать (бревна)» (Англо-русский словарь, составленный проф. В. К. Мюллером. М., 1969).

Существует большое количество слов, родственных английскому *trailer*, которые в разное время были заимствованы различными терминологическими сферами русского языка.

Прежде всего — это морская терминология, где употребляются слова *трал* (анг. *trawl* [trɔ:l]), *траулер* (анг. *trawler* [trɔ:ɪə]) и другие, но уже стало неупотребительным слово *тралер* (тролер), поскольку оно обозначало то же самое, что и *траулер* «рыболовное судно, работающее тралом». *Тралер* встречается во 2-м издании «Словаря русского языка» С. И. Ожегова (М., 1952), но его уже нет в 4-м издании (1960).

В лесотехнической терминологии одно из значений английского глагола *to trail* «трелевать» (транспортировать древесину с места заготовки к дорогам) положено в основу словообразовательного гнезда для русских слов и словосочетаний: трелёвка; трелёвочный трактор; трелёвщик «работник на трелёвке» и др.

Что касается русской автомобильной терминологии, то английское слово *трейлер* претерпело в ней интересные изменения. Впервые оно зафиксировано в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (М., 1940) с пометой «техника». Но там его значение было несколько сужено: оно обозначало лишь «низкую тележку-платформу для перевозки тяжелых грузов». Поскольку слово *трейлер* только еще входило в русский язык и было малоизвестным, оно передавалось на письме побуквенно, без учета произношения, с помощью транслитерации, которая, по определению Н. В. Юшманова, является «точной передачей одной письменности знаками другой письменности». *Trailer* транслитерировалось на русский как *трейлер*.

В таком же значении и написании слово *трейлер* дано в «Орфографическом словаре русского языка» под редакцией С. И. Ожегова и А. Б. Шапиро (1-е изд.— М., 1956; ср. 8-е изд.— М., 1968).

В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова (М., 1952) находим лишь слова *трал* с пометой «специальное»; *тралер*, *траулер*. Слова *трейлер* нет ни в «Словаре иностранных слов» под редакцией М. В. Лехина, Ф. Н. Петрова и др. (М., 1964), ни в 17-томном «Словаре современного русского литературного языка».

Отсутствие этого слова в толковых словарях объясняется, по-видимому, не только тем, что оно принадлежит к узкопрофессиональной сфере, но и тем, что за последние десятилетия наименование «седельный тягач с полуприцепом» почти целиком вытеснило иноязычное название в официальной книжной технической терминологии. Уже во 2-м издании БСЭ (М., 1956, т. 43) *трейлер* толковалось как «устарелое (разрядка наша.— А. Б.) название тягача с прицепами тележками».

Написание, данное в БСЭ,— *трейлер* противоречит рекомендации «Орфографического словаря», закрепившего написание *трейлер*, оформленного по правилам транслитерации. Однако, на наш взгляд, в современной орфографии данное слово, уже полностью вошедшее в русский язык, следует передавать не с помощью транслитерации, которая применяется для оформления на письме малоизвестных иноязычных слов, а с помощью транскрипции, с учетом произношения слова в языке-источнике.

В соответствии со сложившейся в настоящее время традицией передачи английских имен и названий на русский язык справочник Р. С. Гиляревского и Б. А. Старостина «Иностранные имена и названия в русском тексте» (М., 1969) отмечает: «Английские *ai*, *au*, произносимые как [eɪ], передаются в начале слова или после гласных через *эй*, в остальных случаях через *ей*: «Main [meɪn] — Мейн (фамилия), «Daily Worker» [deɪli 'wɔ:kə] — «Дейли Уоркер» и т. д. Таким образом, наиболее оправданным написанием слова *trailer*, транскрибированного на русский язык, следует считать *трейлер*.

Интересно отметить, что несмотря на официальное техническое наименование «седельный тягач с полуприцепом», слово *трейлер* (с вариантами *тралер*, *трелер* или *треллер*) продолжает употребляться в разговорной профессиональной речи в качестве «профессионального просторечия».

Было бы целесообразно включить слово *трейлер* в толковые словари русского языка с пометами «специальное», «устарелое», а также унифицировать его написание с внесением соответствующих изменений в орфографические словари русского языка.

А. В. БАРАНДЕЕВ



Новые слова

Селенография, селенология

Запуски космических аппаратов к Луне (с 1959 года) и прилунение автоматических станций (с 1966 года) открыли новую эру в изучении этого небесного тела. Новый этап характеризуется прежде всего комплексным изучением особенностей окололунной среды, строения и состава лунной поверхности, структуры и морфологии лунного грунта. Отразилось ли это на тех названиях, которые существуют в языке для обозначения научного направления, занимающегося исследованием Луны?

Словари и энциклопедии отмечают одно наименование науки, занимающейся исследованием Луны: *селенографию* (от греческого *Selēnē* 'Луна') 'отдел астрономии, занимающийся изучением Луны' (Словарь современного русского литературного языка; см. также: Толковый словарь русского языка под редакцией Д. Н. Ушакова и др.). Селенография, как свидетельствует БСЭ, представляет собой науку, занимающуюся внешним описанием и измерением наблюдаемых на Луне образований.

Вышедший в 1968 году отраслевой словарь космонавтики выделяет новую область исследований — *селенологию* и дает определение содержания этого понятия: «Раздел планетологии, изучающий литосферу, [наружную

оболочку] Луны (рельеф, вещественный состав и историю развития лунной литосферы)². Главная цель современной селенологии — выяснение истории развития поверхности и литосферы Луны, происхождения кольцевых форм ее рельефа, природы грунтов, оценка их механической прочности и т. д.» (Космонавтика. Маленькая энциклопедия. М., 1968).

При существующем параллелизме в названиях наук *селенология* появилась как закономерная параллель *геологии*, обозначая ту же область исследований, только применительно к Луне: «Уже множатся варианты названий дочерей геологии: селенология (для Луны), ареология (для Марса), афрология (для Венеры)» («Труд», 26 сентября 1970).

С момента взятия автоматической станцией лунного грунта (сентябрь 1970) и особенно с началом периода научного исследования Луны передвижной автоматической лабораторией «Луноход-1» (с ноября 1970) сообщения о новом этапе изучения Луны в языке массовой печати становятся регулярными.

Широкое распространение в непрофессиональном речевом контексте сообщений о строении и составе Луны (лунной поверхности) характеризуется тем, что эта область исследования начинает называться *геологией* (Луны), а факты, явления, относящиеся к этой области, — *геологическими*: «столь многогранный и детальный комплексный эксперимент по геологии Луны осуществлен впервые» («Комсомольская правда», 15 декабря 1970); «Совершенно очевидна огромная роль исследования физических условий на Луне, ее рельефа, свойств и состава лунного грунта, геологии» («Правда», 24 сентября 1970); ср. также официальное название отдела: «Научный сотрудник отдела геологии и морфологии Луны и планет Института космических исследований АН СССР К. Б. Шинкарева подтверждает» («Правда», 22 сентября 1970); или: «Но ясно одно: что существовавшие представления о Луне, как однородном в геологическом отношении теле, неверны. По крайней мере, два миллиарда лет назад там шли мощные геологические процессы, в сути которых нам предстоит еще разобраться» («Известия», 26 сентября 1970); «Мы сможем более уверенно ответить теперь на вопрос о происхождении лунной поверхности, поскольку до сих пор среди специалистов, изучавших геологическое строение Луны, нет единого мнения» («Вечерняя Москва»,

26 сентября 1970); «Одновременно проводилась телефотометрическая панорамная съемка характерных геолого-морфологических образований в кратере, на склоне которого находятся несколько вторичных относительно „свежих“ кратеров и множество крупных камней» («Известия», 11 января 1971); «Главной задачей астронавтов было восхождение на вал кратера Коун для сбора наиболее древних геологических пород» («Известия», 8 февраля 1971).

Термин *геологический* употребляется и при назывании отрасли изучения структуры верхнего слоя иных космических тел: «Часто говорят, что Луна — это своеобразный „геологический заповедник“ и, изучая сегодняшний день Луны, можно узнать и прошлое нашей планеты. Что может дать науке сравнение геологической истории разных планет?» («Известия», 21 ноября 1970).

Все эти примеры свидетельствуют о том, что терминологическое название *геология* (соответственно и *геологический*) получает новое смысловое наполнение — называет науку, изучающую состав и строение космических тел вообще (в том числе Земли и Луны), их историю, процессы, протекающие в их структуре.

Именно утверждающееся в речевом употреблении новое значение слова *геология* — комплексная наука, изучающая «состав, строение и эволюцию планетных тел с обязательным разделом: полезные ископаемые планет Солнечной системы» («Труд», 26 сентября 1970) вызывает такие словоупотребления: земная геология, земные геологические проблемы и др. «Дальнейшее изучение сходства и различия двух небесных тел — Земли и Луны — позволит нам по-новому взглянуть на земную геологию. Яснее станут некоторые геологические „земные“ проблемы, расширятся возможности ряда прикладных задач геологии» («Вечерняя Москва», 26 сентября 1970).

Интересно заметить, что в тех же публикациях и другие существующие в языке названия с элементом *гео-* свободно используются при названии различных направлений исследований Луны: «Топогеодезическое изучение лунной поверхности и использование его для навигации велось в течение всего эксперимента» («Комсомольская правда», 9 января 1971); «Эти сведения необходимы для получения представлений о геометрической структуре лунной поверхности» («Известия», 8 февраля 1971); «Есть и другой круг проблем, в решении которых метод

лазерной локации может сыграть решающую роль. Это проблемы геодезии и геодинамики. Здесь открываются возможности с помощью лазеров проводить точные геодезические измерения» («Правда», 26 ноября 1970); «Полученная телевизионная информация использовалась как для выбора направления движения и ориентации лунохода, так и для проведения топогеодезических и геологоморфологических исследований поверхности» («Известия», 23 декабря 1970).

Приведенные случаи употребления свидетельствуют о дальнейшем затухании значения элемента *гео-* в современном русском языке в связи с развитием «космической» лексики (об этом см.: «Русский язык и советское общество. Словообразование современного русского литературного языка». М., 1968, стр. 294—296).

Появление в речевой практике термина *геология* в новом для него значении не могло не отразиться на употреблении недавно начавшего жить термина *селенология*. *Геология* Луны и *селенология*, обозначающие научное направление, исследующее литосферу Луны, оказались в положении семантических дублетов.

Обращает на себя внимание значительное количественное преобладание употреблений терминов *геология*, *геологический* в названном значении в языке прессы. Случаи употребления терминов *селенология*, *селенологический* в данном значении предельно малочисленны: «Космонавтика вызвала к жизни небывалый по размаху подъем научных исследований в области селенографии, селенологии и селенодезии» («Правда», 25 сентября 1970); «Общее строение поверхности лунного моря в исследуемом районе является типичным для большинства лунных морей: это мощные излияния базальтовых лав, покрытые сверху рыхлым слоем грунта (реголитом), являющимся продуктом дробления скальных пород в результате различных селенологических процессов» («Известия», 8 февраля 1971).

Ответить на вопрос, за каким из этих слов будущее, пока не представляется возможным. Можно думать лишь, что исход конкуренции этих семантических дублетов будет зависеть от того, какой «генеральный» путь изберет терминология в выборе «космических» названий — расширение значений существующих «земных» терминов или создание новых, самой формой указывающих на прикрепленность к определенному космическому телу.

В этой связи показательно высказанное в разговоре с журналистом мнение ученого, занимающегося вопросами «геологии и морфологии Луны и планет»:

« — В этих исследованиях [исследование поверхности Луны с целью выбора посадочной площадки для „Луны-16“] участвовали геологи, геоморфологи, астрономы, геодезисты, специалисты других отраслей знаний.

— Впрочем, почему геологи, а, скажем, не селенологи или селеноморфологи? — поинтересовался я.

— Это вопрос пока дискуссионный, — ответила К. Б. Шинкарева. — Ведь наступит время, и нам придется вплотную заняться Марсом, Меркурием... Как тогда именовать специалистов по этим планетам? Да и стоит ли всякий раз менять нашу „земную“ терминологию?» («Правда», 22 сентября 1970).

Наряду с описанным употреблением термина *селенология* в языке газеты отмечается зарождение у него нового значения — научная дисциплина, занимающаяся изучением Луны во всех возможных аспектах, как бы совокупность наук о Луне: «Следующей особенностью „Лунохода-1“ является его универсальность. Пожалуй, это первый автоматический аппарат, оснащенный таким обилием научной аппаратуры. Решаемые им задачи относятся не только к области селенологии — науки о Луне. Включение в научную программу эксперимента с использованием лазерного отражателя дает возможность изучить движение Луны как небесного тела в системе Земля — Луна; а также уточнять координаты характерных объектов на видимом полушарии Селены» («Вечерняя Москва», 20 февраля 1971).

Можно видеть, что слово *селенология* в первом значении появилось «по образу и подобию» существующего *геология*. Вместе с тем, оказавшись в словообразовательном ряду названий научных дисциплин на *-логия*, *селенология* получает то словообразовательное значение, которое характерно для большинства членов данного ряда: обозначение явлений, научных дисциплин, сфер занятий, характеризующихся отношением к лицу или предмету, названному базовой основой. При этом базовое слово у большинства членов данного словообразовательного ряда выступает в своем основном значении (см., например: археология — наука о древностях; антропология — наука о человеке; микология — наука о грибах; микробиология — наука о микробах; зоология — наука, изучающая животный мир; орнитология — отдел зоологии, изучающий птиц, и др.). В слове *се-*

лениология, лексически соответствующем *геологии*, базовое слово Селена выступает не в основном значении: оно обозначает не вообще Луну как небесное тело, а верхний, наружный слой (литосферу Луны).

Можно полагать, что слово *селенография*, как наименование описательной науки о Луне (после появления принципиально нового направления в исследованиях Луны) по форме уже не соответствует своему назначению, так как названия наук на *-графия* (в отличие от названий наук на *-логия*) предполагают внешнее, описательное исследование объектов.

В речевой практике закрепляется четкое смысловое улучшение названия *селенография* названием *география*: «Мы стоим в начале нового этапа селенографии, т. е. науки, подобной географии, но изучающей особенности не Земли, а Луны» («Правда», 25 ноября 1970); «Стали в повестку дня вопросы создания наиболее точной системы селенографических координат» («Правда», 25 сентября 1970); «Для успешного вождения лунохода надо, конечно, иметь подробные топографические карты, более точно привязать их к селенографической сетке» («Известия», 23 декабря 1970).

Таким образом, можно утверждать, что новые успехи, достигнутые наукой в исследовании Луны, оказали прямое влияние на изменение в терминосфере, включающей названия научных направлений, относящихся к изучению Луны. К существующему *селенография* присоединились *геология* (Луны) и *селенология*. Все три названия в речевом употреблении оказались в сложных или взаимоисключающих позициях.

Какие же названия «лунных» наук поддерживаются названиями соответствующих профессий? В словообразовательной системе современного русского языка существует взаимная обусловленность образований на *-логия* и *-графия*, являющихся названиями различных отраслей науки, техники, и структурно соответствующих названий лиц.

Специалист по *селенографии* (науке, описывающей поверхность Луны) называется селенографом: «Селенографы всего мира смогли, наконец, сравнить лунные полушария» («Советская Россия», 23 сентября 1970).

Селенологию изучают *селенологи*. Правда, анализируемые тексты оказываются лексически недостаточными для определения того, с каким из значений слова *селенология* соотносится название лица *селенолог*. Материал, которым

мы располагаем, позволяет почти в каждом употреблении слова *селенолог* видеть обозначение и специалиста по морфологии Луны, и ученого, занимающегося Луной в самом широком плане: «Если различие между „материковым“ и „морским“ типом лунной коры действительно существует, то сами термины „море“ и „суша“, которые считались для Луны совершенно условными, наполняются для селенологов почти тем же геологическим содержанием, что и земные термины „океан“ и „материк“ для геологов» («Наука и жизнь», 1971, № 2); «До сих пор среди некоторых селенологов существовало мнение, что моря на Луне — результат ударов о ее поверхность крупных космических тел» («Вечерняя Москва», 29 сентября 1970); «Теперь перед баллистиками встала следующая задача: вместе с селенологами выбрать на поверхности Луны площадку, интересную с научной точки зрения и удобную для работы лунохода, и после этого определить траекторию полета станции» («Известия», 18 ноября 1970); «В эти дни здесь можно встретить конструкторов — создателей бортовых систем и самоходного аппарата, ученых — селенологов, астрофизиков, специалистов в области радиотехники и дальней космической связи» («Вечерняя Москва», 13 января 1971); «Заняли места у пультов телеметристы, телевизионщики, селенологи, экипаж лунохода» («Комсомольская правда», 22 ноября 1970).

Смысловым дублетом к *селенологу* выступает *лунолог*: «Лунологи выбрали отличную площадку для ночевки — гладкую, прочную, как на специальном полигоне. Таковую не так-то просто найти на хаотической поверхности Луны» («Правда», 23 ноября 1970).

Название *селенолог* получило очень широкое распространение в языке массовой печати. Геологом редко называют специалиста, занимающегося геологией Луны. Ср.: «На Луне тоже сохраняются чисто земные противоречия: чем менее доступно место, тем оно интереснее для геолога» («Комсомольская правда», 28 ноября 1970); «Впрочем, геологов удивить уже трудно, подобно водителям, они, кажется, начинают привыкать, что „странностей“ у Селены вполне достаточно» («Комсомольская правда», 13 декабря 1970); см. также употребление слова *геолог* в переносном значении: «Лунный „геолог“» (заголовок — о «Луноходе-1». «Труд», 22 сентября 1970).

Специалисты, занимающиеся проблемами, относящимися вообще к Луне, называются *луноведами*: «Некоторые

американские ученые и научные обозреватели не скрывают сегодня своего разочарования тем, что космонавтам корабля „Аполлон-14“ не удалось выполнить одно из основных заданий программы — подняться на вал кратера Коун и взять там образцы грунта, представляющие огромный интерес для геологов и „луноведов“ («Правда», 8 февраля 1971).

Таким образом, можно говорить о том, что названия «лунных» наук на *-графия*, *-логия* в языке поддерживаются соответствующими названиями «лунных» профессий, хотя сами названия профессий находятся в периоде становления и утверждения.

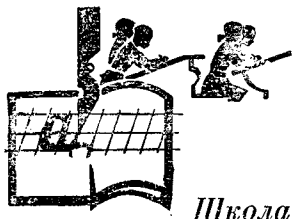
Таблица, отражающая употребление «лунных» терминов в языке современной газеты

| Название | Определение научного направления | | |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| | Наука о Луне | Наука о строении поверхности Луны и происходящих в ней изменениях | Наука, описывающая поверхность Луны и происходящие на ней процессы |
| Научное направление | <i>селенология луноведение *</i> | <i>геология селенология</i> | <i>селенография</i> |
| Специалисты | <i>селенолог луновед лунолог</i> | <i>селенолог геолог</i> | <i>селенограф</i> |

* Термин — теоретически возможный, но в текстах не встретившийся.

Существующая в употреблении сегодняшнего дня взаимозаменяемость приведенных терминоназваний противоречит основному свойству — однозначности, характеризующему терминологию вообще. Заранее предвидеть и предсказать исход борьбы этих языковых конкурентов, даже при самом тщательном анализе различных факторов, традиций и закономерностей, действующих в современном языке и его терминологической подсистеме, довольно трудно.

По мере развития космической науки, несомненно, произойдет и естественное «успокоение» процесса терминотворчества. Это лишь вопрос времени. Сейчас мы в начале этого процесса.



Школа

ЕСЛИ ВАШ РЕБЕНОК ОТСТАЕТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ...

Беседа с родителями

Чаще всего неуспеваемость по русскому языку возникает не по лени, а в результате случайного пропуска учебного материала: из-за невнимательности учащегося в классе, по болезни, при смене учителя или из-за вынужденного непосещения школы.

Язык — сложная система, в нем все взаимосвязано, и если, допустим, школьник не выучит порядок падежей и вопросы к ним при изучении первого склонения, то он не одолеет и второго склонения, и третьего, и склонения прилагательных и числительных. Тогда для него будут пустым звуком многие правила орфографии, он не усвоит согласования слов и т. д. Не владея грамматическими терминами, ученик не поймет объяснения в классе, затруднится ответить у доски. Выполнение домашнего задания становится невозможным. К этому добавляются чувство неуверенности, испуг, страх и отвращение. Внимательные отец и мать быстро замечают, что с мальчиком или девочкой творится что-то неладное. Дневник рано или поздно раскрывает тайну...

Ребенок нуждается в помощи. Безусловно, отстающий учащийся не выходит из поля зрения учителя. В школе

организуют дополнительные занятия с отстающими, им уделяют усиленное внимание и на уроке. Но помочь попавшему в беду ученику могут также и старшие в семье. Такая помощь никогда не будет излишней, а порой она становится решающей и единственно возможной.

Как же помочь ученику дома?

Кто бы ни оказывал помощь — мать, отец, тети, бабушка, дедушка, старшие братья и сестры, очень важно взять правильный тон. Ни в коем случае нельзя допускать брань, оскорбительные выражения, побои и вообще все, что унижает человеческое достоинство. Нужно проявлять уважение к науке и к ученику, который над ней трудится. Самый лучший подход — «сделаем вместе, потому что это трудно». Те, кто изучил грамматику, видят богатство и красоту русского языка, его особую насыщенность и гибкость. Но учить грамматику трудно, а отстать в изучении легко. Если взяться за дело вовремя, можно быстро помочь подростку: нужно просто вместе с ним приготовить два-три урока.

Хуже, если беда замечена поздно. В таком случае план работы значительно усложняется. Во-первых, нужно оказывать неуспевающему немедленную помощь при освоении каждого очередного урока. Иначе он будет по-прежнему получать двойки, и даже хуже: он будет продолжать отставать от класса. Во-вторых, вместе с выполнением очередного урока надо подгонять старое. Однако ошибкой было бы начать повторение издалека. Лучше повторить предыдущую тему, затем ту, которая ей предшествует, и так далее. Кое-что при этом в учебном материале переставится. Например порядок и вопросы падежей будут изучены не при первом склонении существительных, а, допустим, при склонении местоимений. Это неважно, так как падежи одни и те же и вопросы те же самые. Таким образом, одновременно с приготовлением уроков на каждый текущий день, нужно проходить тему за темой, полностью охватывая материал. Потом, когда пробел в знаниях будет восполнен, можно будет повторить темы от начала до конца в том порядке, в каком они изложены в учебнике.

Нужно быть осторожными при изучении синтаксиса. Синтаксис гораздо отвлеченнее, труднее, чем морфология или орфография. Синтаксические разборы для школьника подчас утомительны. Обычно он устаёт после подробного разбора всего лишь двух-трех предложений, а после раз-

бора пяти предложений перестает что-либо соображать. Значит, нужны перерывы. Для большей наглядности полезно вычерчивать схемы предложений — как простых, так и сложных. Какие вычерчиваются схемы — известно каждому ученику, так как все учителя русского языка постоянно применяют схемы простых и сложных предложений.

Чтобы вызвать у подростка положительные эмоции, можно купить ему краски и научить раскрашивать схемы. Изящно изготовленные схемы доставляют ребятам, особенно девочкам, большое удовольствие.

Те дети, которые много читают, делают меньше ошибок в орфографии и в стиле, легче справляются с изложениями и сочинениями, у них заметно повышается культура речи, обогащается запас слов и оборотов, возрастает уверенность в соединении слов, то есть в практическом владении синтаксисом. Надо умело побуждать к чтению. Для этого можно проводить беседы о прочитанной книге, сопоставлять фильм и повесть, по которой он поставлен, оперу и ее литературный источник. На детей сильное впечатление производит чтение вслух художественных произведений, стихотворений, критических отзывов. Можно и поспорить, можно и согласиться с их мнением. Жаркие споры возникают вокруг стихов поэта Ленского в романе «Евгений Онегин» и арии Ленского в опере; очень остро воспринимаются отзывы Писарева и Чернышевского о героях наших любимых произведений. Разумеется, споры должны быть тактичными.

Самое трудное и ответственное — объяснение учебного материала. Здесь возможны три приема.

1. Просто и доходчиво пересказать содержание параграфа учебника, показать на примере, как применяется правило, побудить ученика самого прочитать правило по учебнику. За этим следует совместное выполнение домашнего задания с попутным объяснением непонятного.

2. Начать с выполнения удобного примера, разъяснить ход работы, решить две-три грамматические задачи, а затем постараться понятно изложить содержание параграфа. Если параграф трудный, то лучше разбить его на части, поставить к каждой части вопрос и пересказать. Затем прочитать параграф по учебнику и вместе с учеником выполнить заданное упражнение.

3. Побудить обучаемого самостоятельно взглянуть в правило, разобрать вместе с ним пример, приведенный в

учебнике, выполнить часть упражнения, после чего подросток снова читает параграф и выполняет с вашей помощью домашнее упражнение. Такой путь выгоден тем, что приучает самостоятельно постигать учебный материал. Это важно для всех детей, но особенно для болезненных, вынужденных часто пропускать уроки.

После того как стало ясно, что правило понято и успешно применяется, мы побуждаем ученика выучить правило наизусть. Если удастся добиться этого от школьника, то он пойдет в класс хорошо подготовленным и на первом-втором уроке будет поднимать руку, чтобы учитель его спросил. Одно только понимание учебного материала не обеспечивает прочности знаний и активности ученика в классе.

Допустим, что задано на дом изложение. Внимательно читаем текст вслух и спрашиваем ученика, на сколько частей можно разделить прочитанное. Членение текста на три-четыре части (редко пять-шесть) заставляет проделывать сложную и напряженную работу по логической оценке содержания. Разбивая текст на части, ученик невольно решает вопрос, как назвать каждую часть, то есть каков план изложения.

План записывается, текст пересказывается раза два вслух. После этого письменный пересказ идет заметно легче. Но иногда ученик не может начать. Чтобы облегчить начало, полезно поставить вопрос, соответствующий предполагаемому первому предложению. Например, текст для пересказа начинается предложением: «В детстве Александр Васильевич Суворов был худеньким, слабым мальчиком». К нему можно поставить вопрос: «Кто был слабым мальчиком?». Ответом на него будет начальное предложение: «Александр Васильевич Суворов был слабым мальчиком». В этом предложении могут быть добавлены слова «худеньким» и «в детстве», но их может и не быть. Исходя из начального предложения, ученик сочиняет второе, а за вторым — третье.

После того как закончен пересказ первого раздела плана, можно поставить вопрос, соответствующий формулировке второго раздела, и записать ответ с новой строки.

Так идет пересказ текста до последнего предложения. Тут иногда возникает затруднение: ученик не может завершить работу. Чтобы помочь ему, полезно дать примерные начала завершающих предложений: «Так...», «Таким...», «Вот что...», «Это...» и т. п.

Эти советы можно использовать и в работе над сочинением. Но при сочинении нет готового исходного текста, в котором было бы дано все содержание. Ученику необходимо сначала добыть содержание («что написать») в рекомендованных книгах. После этого составить план и проверить, хорош ли он — можно ли по составленному плану восстановить тему; далее следует сообразить, все ли нужное будет уложено; отсеять все ненужное; убедиться, что план удобен, что он не изменится в процессе письма. Полезно рассказать будущее сочинение вслух два-три раза. Это вовсе не задержка в работе, а ускорение. Очень трудно собирать сочинение по предложениям, и легко писать сочинение, если оно уже было рассказано вслух.

Начальное предложение в сочинении составляется исходя или из темы или из первого вопроса плана. К начальному предложению пристраивается второе, к нему третье и т. д. Для того чтобы рассуждение было связным, время от времени написанное перечитывается; исходя из прочитанного составляется следующее предложение.

В отношении завершающего предложения можно дать те же советы, как при изложениях. Сравнительно большие размеры сочинения допускают завершение заключительными предложениями со словами: «Таким образом...», «Так...», «Таковы...», «Итак...» и т. п.

Конечно, забота об отстающем ученике не должна кончатся с первыми тройками или четверками. Важно пройти весь запущенный материал, воспитывая у учащихся желание и умение самостоятельно осваивать то, что не было выучено своевременно. Пусть ученик сам разберется в легких параграфах, сам выполнит упражнения.

Активное участие старших в подготовке уроков должно постепенно ослабевать, по мере того как ученик становится самостоятельным. Однако важно постоянно интересоваться тем, как идут дела в школе, жить вместе с ребенком его школьной жизнью, переживать заново пережитое когда-то в школьные годы.

Постоянное, дружеское внимание семьи к школьным делам — лучшая гарантия того, что ученье не окажется запущенным.

*Профессор
Н. А. ФИГУРОВСКИЙ
Елец*



Рисунок В. Толстоногова

Грамматика

ВЕЛИКА ЛИ ГЛЫБА?

В русском языке есть существительные, которые обозначают объекты больших, огромных размеров, например *громада*, *глыба*. Каждое из этих слов имеет свои производные: *громада* — *громадный*, *громадно*, *громадность*, *громадина*; *глыба* — *глыбка*, *глыбочка*, *глыбистый*, *глыбовый*, *глыбовидный*, *глыбообразный* (17-томный Словарь). Обращает на себя внимание, что существительное *глыба* имеет уменьшительно-ласкательную форму — *глыбка*, а *громада* — нет. Не имеют такой формы и другие слова этой группы: *колосс*, *гигант*, *титан*, *великан* и т. п. Оказывается, это не случайное явление. Слова, не допускающие присоединения к себе суффиксов с уменьшительным значением (-к-а, -ик, -ок и т. д.) и обнаруживают явление, называемое морфемной несовместимостью, т. е. несовместимостью морфем — корневой и суффиксальной. Действительно, обозначаемый предмет может быть особо больших размеров, но не может быть по величине меньше того, что принято называть словами *громада*, *колосс* и др. Наряду с морфемной существует лексическая несовместимость, при которой существительные *громада*, *колосс* и др. не могут иметь при себе таких прилагательных, как *гигантский*, *огромный* и т. п.

Чем же объяснить, что в отличие от слов *колосс*, *громада* слово *глыба* имеет уменьшительные *глыбка*, *глыбочка*, хотя тоже как будто обозначает предмет огромных размеров? Формы *глыбка*,

глыбочка зафиксированы в толковых словарях русского языка. Существительное *глыба* (украинское *гліба*), родственное латинскому *glēba* 'глыба земли, комок, шарик', издавна имело в русском языке (видимо, как и в латинском) два разных оттенка значения — 'большая масса чего-либо твердого (гранита, льда)' и 'комочек земли'. Уже словари XVIII века, в которых оно впервые было отмечено, свидетельствуют об этом достаточно очевидно: «столица, бразда земли. *Льдины, глыбы льдяные*» (Вейсманнов лексикон. 1731); «ком, кусок, часть, от твердого тела отделенная. *Глыбы льду. Разбивать глыбы на пашне*» (Словарь Академии Российской. 1789; см. также: Словарь Академии Российской. 1806).

Однако впоследствии в литературном русском языке закрепилось значение, связанное с указанием на большие размеры предмета. В «Словаре церковнославянского и русского языка» (1847) существительное *глыба* определяется только как «большой ком, отделенный от какого-либо твердого тела. *Глыба земли. Глыба льду. Разбивать глыбы на пашне*». В «Словаре русского языка» (1895) — «плотная масса земли, глины и т. п.; большой ком, отделенный от твердого тела». «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова окончательно закрепляет единственное значение слова *глыба* в литературном языке: «огромная монолитная масса, обломок твердого неорганического вещества. *Глыба льда. Каменная глыба*».

Последующие словари дают подобное же толкование слова, утратившего оттенок старого значения 'комочек земли'. Но этот оттенок сохранился в русских народных говорах.

В Толковом словаре В. Даля находим: «*Глыба*, новгородское *глиба*... ком, ломоть, обломок, осколыш, ком твердой земли или дернины на пашне; колышка, мерзлый ком навоза, снега с грязью и пр.». Об этом же говорят и материалы «Словаря русских народных говоров»: «Ком земли, снегу, льду и т. п. Развязал мешок-от, а тамо-ка... глыба положена (ком замерзшего навозу)». Ср. там же *гліба* в этом значении.

В XVIII веке впервые была зафиксирована уменьшительная форма этого слова — *глыбка*. В «Российском целлардусе» (1774), а также в «Словаре Академии Российской» (1789): «умалительное *Глыбка, -бки*». Эта форма затем была включена во все академические словари русского литературного языка, но не подкреплена ни единым примером. Обращение непосредственно к картотеке 17-томного Словаря показывает, что иллюстративный материал в ней на производное *глыбка* действительно крайне скуп. Имеется лишь один ранний пример из русских народных говоров: «Творог не мятый, а глыбками» (Архангельская губ.). Собиратель Копаневич прямо соотносит рассматриваемое образование с существительным

глыба в значении 'комок, кусок'. Это находит подтверждение в «Словаре русских народных говоров»: «*Глыбка*, -и, ж. Уменьшительно-ласкательное к *глыба*... Сгусток застывшей смолы.— Это глыбки, глыбки-ти и отпали. Ср. *Глибка*, -и, ж. Уменьшительное к *глыба*... Стоит он (конь) веселится. Под ним соломка шевелится, глибка с глыбкой сдвигается».

В материалах картотеки 17-томного Словаря находим цитату из статьи А. Г. Лорха «Агротехника возделывания картофеля квадратно-гнездовым способом»: «По тем же причинам совершенно недопустимо, чтобы на связных почвах оставались необработанные крупные комья (глыбки)». В остальных имеющихся в картотеке примерах «глыбками» называются малые зернышки, образующиеся в процессе химических превращений, или кристаллы стекла, что тоже связано с понятием 'комочек, кусочек'.

То же значение и толкование имеет в словарях и производное от *глыбка* — *глыбочка*, впервые отмеченное в «Словаре церковнославянского и русского языка» (1847). Даже единственный пример, приведенный в 17-томном Словаре подтверждает это: «Жаворонки сотнями поднимаются, поют, падают стремглав, вытянув шейки торчат на глыбочках» (Тургенев. Татьяна Борисовна и ее племянник).

Таким образом, слова *глыбка* (XVIII в.) и *глыбочка* (XIX в.), так же как и в настоящее время, — уменьшительные производные от существительного *глыба* в значении 'ком, комок, комочек'. Следовательно, наличие в языке производных *глыбка*, *глыбочка* не противоречит, а, напротив, подтверждает явление морфемной несовместимости: от литературного *глыба* (о предметах огромного размера) уменьшительно-ласкательных форм не образуется.

В. И. МАКСИМОВ

Ленинград



Создать язык невозможно, ибо его творит народ; филологи только открывают его законы и приводят их в систему, а писатели только творят на нем сообразно с сими законами.

Б е л и н с к и й. Литературные мечтания

К Н И Г А



Слово *книга* известно русскому и другим славянским языкам с древнейших времен: русское *книга*, древнерусское *кънига*, белорусское *кніга*, украинское *книга*, старославянское *кънигы* 'буквы, алфавит, записка, книга, письмо, текст' (употреблялось только во множ. числе), болгарское *кни́га* 'книга, письмо, грамота, бумага (для письма)', сербскохорватское *кни́га* 'книга, письмо, журнал, учение, бумага', словенское *knjiga* 'книга, литература', чешское и словацкое *knih*, польское *księga*, верхнелужицкое *knih*, нижнелужицкое *knigwu* (множ. число).

Современные славянские языки получили это слово в наследство от древнейшего общеславянского языка-основы, из которого они произошли. На вопрос «как появилось общеславянское наименование *кънига* в славянском языке-основе?» языковеды дали множество ответов. Одни считали его исконным славянским, другие видели здесь очень древнее общеславянское заимствование то из древнего китайского *king* 'книга', то из ассирийского *kuukku* 'печатать' через посредство армянского *knik* (*kənik*) 'печатать', то из древнескандинавского (варяжского) *kenning* 'познание, учение'. Однако все эти объяснения не вполне удовлетворяли специалистов по славянским языкам, ибо оставались необъясненными многие вопросы, связанные со звуковой стороной слова,

значением, путями его исторического движения к славянам. Не случайно поэтому известный французский лингвист Антуан Мейе в книге «Общеславянский язык» (русский перевод: М., 1951) не считал даже нужным излагать все гипотезы, а лишь ограничился неопределенным замечанием: «Общеславянское слово *кни́зы* имеет, по-видимому, восточное происхождение, но мы не знаем, через какое посредство оно пришло в славянские языки». Обзор существующих гипотез о происхождении всеславянского культурного термина *кни́га* можно найти в «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера, где названо до тридцати исследований, затрагивающих вопрос о загадочном славянском слове.

Наиболее правдоподобной выглядит попытка финского языковеда-тюрколога Мартти Рясянена проследить историю слова как древнего китайского заимствования, пришедшего к славянам через посредство тюркоязычных народов, прежде всего болгар. Точка зрения М. Рясянена состоит в следующем. Древнее китайское слово *кюань* ('книжный, бумажный) свиток' (сейчас оно читается *цзюань* и значит 'глава или отдельная тетрадь книги') было заимствовано древними тюрками. В современных тюркских языках оно уже не употребляется, но было известно древним тюркам (уйгурам). В «Древнетюркском словаре» слово отмечено в сочетании *күйн битиг* (*küjn bitig*) 'свиток' из уйгурской буддийской сутры (священной книги) «Секиз йүкмәк» (Восемь случайных свойств). Правда, в основу общеславянского слова легла не форма, обнаруженная в древнеуйгурских текстах, а производное от нее уменьшительное существительное *күйниг*, буквально 'книжечка' (мы хорошо знаем, что уменьшительные формы иногда теряют первоначальное значение, подобно русским словам *книжка*, *ножик*, где исторический уменьшительный суффикс уже ничего не значит). Возможно, что тюркская форма *күйниг* возникла под влиянием другого, более распространенного древнетюркского названия книги — *битиг* (от китайского *би* 'кисть для письма').

В Европу древнее тюркское слово было занесено из степей Центральной Азии, вероятно, во время так называемого «великого переселения народов», когда под натиском кочевников, пришедших из Азии, сильно изменилась карта расселения народов средневековой Европы. Первая и самая мощная волна пришельцев состояла из

гуннов, которые появились в Европе в 375 году. К меньшим потрясениям привело более позднее вторжение аварских орд. С гунно-аварскими потомками связывают кочевых тюркоязычных булгар и хазар, которые впоследствии заселили степи Восточной Европы.

Позднее булгары южнорусских степей разделились на три самостоятельных народа. Одна часть булгар ушла в район Подунавья, где покорила дунайских славян в 679 году. Они скоро растворились среди славян, оставив последним лишь название *болгары* да несколько заимствованных слов. Также утратили свой прежний язык булгары, оставшиеся в Приазовье (кубанские или черные булгары). Вероятно, как воспоминание об этих народах до сих пор живет название *балкарцы*, язык которых потом подвергся обновлению в период господства половцев в южнорусских степях. И только третья часть булгар, удалившаяся в район Среднего Поволжья, сохранила основу древнего языка, в который, однако, влилось множество чуждых по происхождению элементов. Этот значительно обновленный и исторически изменившийся язык продолжает жить в современном чувашском, в то время как наши сведения о языках кубанских и дунайских булгар чрезвычайно скудны. Они основаны преимущественно на сохранившихся в сочинениях древних историков собственных именах и на заимствованиях, которые вошли в языки соседних народов и впоследствии усвоенные булгарами местные языки.

М. Рясянен предполагает, что древнее тюркское слово *kjün* (в исходной неуменьшительной форме) сохранилось в современных чувашских диалектных словах — *көн*, *көнй* 'пространство, занятое на ткани узором'. Это новое значение развилось в чувашском языке исторически из прежнего 'исписанное, написанное'.

Из уже исчезнувшего болгарского диалекта была заимствована в славянские языки уменьшительная форма **kjünig*; на славянской языковой почве она стала звучать *книга* в результате изменения краткого звука *ü* в своеобразный очень краткий славянский звук *ъ* (ср. *торкы* из *türk*), который исчез в этом слове бесследно (о звуке *ъ* и его судьбе см. «Русскую речь», 1968, № 5). Тюркский звук *й* в этом слове также исчез, но смягчил соседний согласный *н*, превратив его в очень мягкий *нʷ*. Сербскохорватское *књига* и словенское *knjiga*, как и старославянская *кънига*, указывают на большую древность

смягчения, которое отмечается и в чувашских диалектизмах *конь*, *конья*. Конечный звук *-а* в славянском *книга* представляет собой окончание существительного и возник тогда, когда слово стало осваиваться славянами.

Из другого болгарского диалекта (скорее всего это был уже древнечувашский язык) заимствовано эрзянско-мордовское название бумаги — *коне* (копѳ). Любопытно, что и у славян слово *книга* имеет одно из значений 'бумага'. Такое значение развилось у него, например, в болгарском и сербскохорватском языках. Слово попало в мордовский язык после того, как в древнечувашском согласный *-г* изменился в *-в*. Уже от русских мордва заимствовала слова *книга* и *книжка*, которые употребляются и в эрзянском и мокшанском языках.

Из сходного болгарского диалекта было заимствовано также древневенгерское *könyű* 'книга', сохранившееся лишь в архаическом секейском диалекте венгерского языка, но изменившееся в современном литературном венгерском в *könyv*. Многие языковеды (например О. Прицак) считают, что болгарские слова проникли к венграм во время их тесных связей с кубанскими (черными) булгарами в районе Северного Кавказа.

Более древний облик кубанскобулгарского слова отражен в осетинском языке, где сохраняется конечный заднеязычный согласный: литературная (ирпская, восточная) форма *чыныг* (с долгим *и* начального слога, длительность которого связана с выпадением согласного *й*: *kīnyg* > *čīnyg*), западноосетинские (дигорские) формы *kinugə*, *kiwnugə* 'книга, письмо'. В. И. Абаев в «Историко-этимологическом словаре осетинского языка» считает осетинские слова русскими заимствованиями: с этим трудно согласиться из-за долготы гласного в первом слоге, которая едва ли могла возникнуть у краткого вставного гласного. Кроме того, гласный *у* второго слога в дигорских формах хорошо отражает так называемый тюркский сингармонизм, для которого характерно огубление гласного второго слога под воздействием огубленного гласного в первом слоге.

Гласный начального слога утратил лабиализацию (огубление) на осетинской почве в результате расподобления двух огубленных гласных (первого и второго слогов); это тем более вероятно, что в тюркском здесь был представлен гласный *й̤* переднего ряда, которого нет в осетинском языке. В результате безударный гласный *й̤* был

передан в осетинском долгим гласным *и* в первом слоге или же сочетанием *иу* (дигорское), а под ударением гласным *ы* в иронском и гласным *у* в дигорском диалекте. Влияние русского языка на дигорские осетинские формы могло сказаться лишь в добавлении конечного гласного звука после заднеязычного *г*.

Итак, древнее тюркское слово утратилось современными тюркскими языками, но хорошо сохранилось во многих языках Восточной Европы (славянские, мордовский, венгерский, осетинский) в виде названия книги или бумаги: ведь бумага употреблялась как материал для книг, хотя и пришла в Европу позже названия книги.

В пользу предположения о тюркском происхождении славянского слова *кѣнига* говорит также заимствование древнерусским и старославянским языком наименования для книжника и книголюба — *кѣнигычи*. Это слово — типичное тюркское существительное со значением лица, образованное при помощи суффикса *-чи*: *кѣйнигычи. На славянской почве из тюркского сочетания согласных *гч* образовалось *гъч* (вставлен очень краткий гласный *ъ*). В дальнейшей истории русского языка слово *кѣнигычи* изменилось в народно-разговорное *книгочѣй*, а в книжных стилях речи оно стало произноситься архаически — *книгобчѣй* (этому слову посвящена специальная статья в «Русской речи», 1968, № 2).

Слово *книга*, как отмечается в 17-томном «Словаре современного русского литературного языка», имеет три значения: 1. Печатное издание (в старину — также рукопись) в виде сброшюрованных, переплетенных вместе листов с каким-нибудь текстом; сочинение, произведение более или менее значительного объема, напечатанное отдельным изданием или предназначенное для такового: «Читать книгу. Писать книгу». 2. Сшитые в один переплет листы бумаги для каких-либо записей, с какими-либо записями: «Канторские книги. Бухгалтерские книги». 3. Одно из крупных подразделений литературного произведения (обычно романа); то же, что номер (о толстом... журнале): «Третья книга романа. Вторая книга журнала».

В древнерусском языке у слова *кѣнигы*, которое употреблялось преимущественно во множественном числе, было больше значений. Перечисление их вместе с цитатами в «Материалах для Словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского занимает более двух страниц большого формата. Значение древнерусского слова во многом напо-

минает значения старославянского; это и не удивительно: ведь древнерусский и старославянский языки были чрезвычайно близкими.

В древнейшем памятнике восточнославянской письменности — «Остромировом евангелии», переписанном в 1056—1057 годах со старославянского оригинала, слово *кънигы* употреблено в значении 'буквы, письмена': «Бѣ и написаніе написано надъ нимъ кънигами елиньскими, и римьскими, и еврейскими: се естъ ц(ѣса)рь иудейскъ». В греческом оригинале ему соответствует слово *γράματα* (множ. число) 'буквы', которое впоследствии было усвоено русским как *грамота* и перешло в прибалтийские языки: литовское *grāmata* 'письмо', латышское *grāmata* 'книга', эстонское *raamat*, финское *raamattu* 'книга, писание, библия'. В церковнославянском изводе позднего времени это место евангелия звучит несколько иначе: «Бѣ же и написаніе написано надъ нимъ письмены елинскими и римскими и еврейскими: сей естъ царь іудейскъ».

Слово *кънигы* в значении 'буквы' употреблялось и в оригинальных древнерусских памятниках, причем часто чередуясь со словом *букъве*. В «Повести временных лет» под 898 годом: «Нѣци же нач(а)ша хулити Словеньскыя книги, гл(аголю)ще, яко [что] не достоитъ [не достойно] никоторому же языку [народу] имѣти буквѣ своихъ развѣ еврей, и грѣкъ и латины по Пилатову писанию, еже [которое] на кр(е)стѣ г(о)с(под)ни написа» (летопись по Ипатьевскому списку). Здесь речь идет о создании славянской азбуки.

Как слабый отзвук однозначности слов *книга* и *буква*, существуют в современном русском языке шуточные прозвища *книгоед* и *буквоед* с производными *книгоедство* и *буквоедство*.

Употреблялось слово *кънигы* и в значении 'письмо, послание'. Именно это значение обнаруживается в «Поведании о побоище великого князя Дмитрия Ивановича Донского»: «Пиши книги к нему». Интересно отметить устойчивое выражение *книги разумѣти* или *вѣдѣти* 'знать грамоте'.

В устойчивом выражении современного русского языка *ему и книги в руки* (о знающем, осведомленном человеке, у которого есть все возможности для каких-либо действий) сохранилось еще одно, старинное значение слова *книгы*. Оно обнаруживается в другом варианте того же фразеологического оборота — *ему и карты в*

руки. Из этой замены лишь одного слова ясно, что *книги* и *карты* значили здесь одно и то же. Интересно, что и в болгарских говорах слово *книги* имело значение 'игральные карты'. Ср. также молдавское *картя* 'книга' и 'карты'. Кстати, в сборнике русских пословиц XVIII века, составленном И. Ф. Богдановичем, встречается любопытное противопоставление карт и книг:

За разум хватился книжочий Памфил,
Распродавши-де книги, да карты купил.

Очень древним можно считать также известное многим славянским языкам значение слова *книга* — 'часть желудка жвачных животных'; слизистая оболочка этой части образует множество больших листообразных складок, которые свисают, прилегая одна к другой, как листы в книге. Однако в этом значении чаще употребляется форма *книжка*.

Никакого отношения к разобранному слову не имеет название птицы пугалицы *книга*, которое В. И. Даль отметил в западных и южных русских диалектах, соседящих с белорусским и украинским языками. В украинском тоже имеется слово *кніга* 'чайка'. В чешском диалектное название птицы *kníha* отличается от слова *kníha* 'книга' долготой гласного *и* в корне. Названия птицы — явно звукоподражательные, что видно, если сопоставить это название с другими: *кнігалка*, *пугалка*, *пугалица*, *чібес*, *чібис*, *кїгалка*, *настовица*, *настовница*, *лугівка*, *луговіца*, *кигїчка*, *кигїкалка*, *вюха*, *чайка*, *півик*, *пїголка*. Большая часть этих названий, безусловно, передает крик птицы, воспринимающийся неодинаково. Есть подобные названия и в других славянских языках: украинские *кигїтка*, *кигїця*, *кигїчка*, белорусское *кнігаука*, чешские *kníhalka*, *kníhavka*, *knikavka*, *kníha*, *kníhoga*, *ahežka*, *áhežka* и др. Все они возникли в разных славянских языках, вероятно, независимо друг от друга.

Итак, слово *книга*, распространенное во всех славянских языках, имело довольно сложную судьбу, придя к славянам из китайского языка через болгарско-тюркское посредство. По пути к славянам и у славян это слово испытало сложные изменения в своем значении и звуковом облике.

В дальнейшем слово *книга* получило широкое распространение, начав повый круг истории, двигаясь уже из русского и других славянских в неславянские языки.

Давним русским или белорусским заимствованием считается литовское *knugà*. Представлено это слово и во многих современных финно-угорских языках. Хантыйское *kniga*, *kənək* и *k^b ənik^ʔ* ³ заимствовано прямо из русского (если сохранена мягкость согласного *н^b*) или через посредство татарского (если *н^b* отвердело). Мансийское *книга* вместе с диалектными вариантами *kuńikä*, *kińix*, *kińikä*, *kińik*, *kńikə*, *kńika*, *kńīgá* и т. п., а также *kńiskə*, *kńiska* представляет собою заимствование непосредственно из русского языка слов *книга* и *книжка*, а старые и диалектные формы *кeпex*, *кəпx* (множ. — *kə-pəkt*) с отвердевшим *н* говорят о заимствовании через татарское посредство.

В марийский язык вошло не только русское *книга*, получившее разное звучание в разных говорах и наречиях (*книгá*, *кн'игá*, *кн'ишкá*, *кн'ешкá*, *кн'ишкá*, *кн'игá*, *кйн'игá*), но и *книгочей*, превратившееся в *кнагаче* 'грамотный'. Впрочем, *кнагаче* можно считать и марийским образованием при помощи суффикса *-че*. В коми-зырянском языке русское слово употребительно в двух формах — *нига* и *книга*.

Чувашский язык, в котором слово *конь* утратило первоначальное значение 'книга' и стало названием пространства на ткани, занятого узором, использовал для названия книги русское слово *книга*, изменившееся в современном чувашском в *кёнеке*: оно известно по словарям с XVIII века. Уже на чувашской почве было образовано существительное *кёнекесё* 'книжник', напоминающее русское *книгочёр* — *книгочёр* (см.: А. Е. Горшков. Роль русского языка в развитии и обогащении чувашской лексики. Чебоксары, 1963). Иное мнение на чувашское слово *кёнекесё* высказал А. С. Львов (Очерки по лексике памятников старославянской письменности. М., 1966), считающий его исконным чувашским словом, унаследованным из древнебулгарского языка.

Попало это слово и в другие тюркские языки. В «Опыте словаря тюркских наречий» В. В. Радлова отмечены следующие тюркские формы: алтайское и телеутское *кинйү*, казанско-татарское *кинйгä*, *кинäгä* 'книга; русская книга в отличие от книг, написанных арабским письмом, которые назывались *китап*'; '(конторская) книга', *кнäгä* 'книга, конторская книга'. Встречается это слово и в «Русско-татарском словаре» А. Воскресенского, в словарях Н. П. Остроумова и Г. Балинта. Сейчас татарское

кенэзэ считается диалектным. В современном ногайском есть синонимы: русизм *книга* и арабизм *китап*.

В киргизский язык вошла только форма *книжка*, которая в литературном употреблении сохраняет русское написание и произношение, а в разговорно-бытовом превращается в *кинешке*. В якутском слово стало звучать *кiнiгä, кiнiгä, кiнiгä, кiрiңä* при неизменном значении, зато *книжка* приобрело звуковой вид *кiнiскä* и получило значение 'сусальное золото', ибо и по-русски листы этого золота в пачках назывались *книжками*. Русское редкое диалектное *книгочёт* 'любитель читать книги' превратилось в якутское *кiнiгäсiт* 'книжник'. Заимствовано оно и другими языками народов нашей страны.

Слово *книга* являет собою образец так называемого «бродячего слова», или «культурного термина», который легко переходит из одного языка в другой, преодолевая большие расстояния и множество языковых границ (см.: И. Г. Добродомов.— «Русская речь», 1971, № 1). Особенно большую активность оно приобрело в русском языке, из которого его заимствовали многие народы нашей страны; оно стало наглядным отражением культурного влияния русского народа. Распространение таких слов способствует созданию так называемого «общего лексического фонда» во многих языках нашей страны и их сближению на русско-интернациональной основе.

И. Г. ДОБРОДОМОВ



ТОЛМАЧ И ПЕРЕВОДЧИК

Переводческое дело было известно на Руси издавна. Летописец повествует, что уже в XI веке многие писцы для князя Ярослава «прекладаше отъ грекъ на словѣнское писмо» (Лаврентьевская летопись, год 1037 г.). Старинные мастера слова оставили нам богатую переводную литературу. Это богослужебные книги и художественные произведения; труды по астрономии и астрологии, геометрии и географии, естествознанию и философии, по истории инозем-

ных государств; описания путешествий; руководства по военному делу, сельскому хозяйству; лечебники; словари; многочисленные переводы документов. Широко практиковался на Руси и устный перевод — при беседах, переговорах с иноземцами.

Люди, занимавшиеся переводческой деятельностью, по-видимому, долгое время назывались неодинаково. И. И. Срезневский отмечает такие слова, употреблявшиеся в значении 'переводчик': прѣлагъчии, письць, тазыкъ, тълкъ, тълкаръ, тълмачъ (Материалы для Словаря древнерусского языка). Из-за недостатка сведений об употреблении этих слов в ту далекую эпоху мы не можем точно определить смысловые различия между ними.

Постепенно круг слов со значением 'переводчик' сужается. В памятниках более поздней поры, касающихся дипломатических сношений Московского государства, в отчетах царских послов регулярно отмечается лишь наименование *толмач*: «Да толмача бѣ послати хто бѣ умѣлъ говорити по ангилѣйски и по рускии» (1581); «Много намъ о той брани чрезъ толмача повѣдаша» (1582 — 1584); «И царь Арапъ говорилъ толмачю: скажи де посланнику, чтобъ пересталъ говорити рѣчь» (1613—1615); «Для толмачества взять толмача, мужика или жонку, которая бѣ умѣла по-руски и по-юкагирски говорить» (1652); «И бѣи мнѣ холопу вашему самъ и чрезъ толмача говорилъ» (1692 — 1695). Как показывают приведенные примеры, значение слова *толмач* в этот период вполне ясно — 'устный переводчик, посредник при переговорах, беседах'.

В значении 'лицо, занимающееся письменными переводами' в памятниках приблизительно с XVI века отмечается уже слово *переводчик*, или *переводник*: «А что о королеве о арцымагнусове прародителе Фредрике ино нѣчто будетъ, переводчики не гораздо описалися» (Грамота Ивана Грозного королю шведскому. 1573); «Грамоты наши перевести переводчики не умѣли» (1589); «При прежнихъ Великихъ государѣхъ царѣхъ ... многіе переводницы отъ всѣхъ языкъ много святыхъ книгъ на рускій языкъ преложиша» (1616); «Великого государя вашего ... грамота по ся число не переведена, потому на русском языке переводчика сыскать вскоре не мочно» (1667 — 1669); «И какъ они намъ тѣ грамоты показали и переводчики превели и руки свои къ переводамъ приложили» (1680).

О смысловом различии между *толмач* и *переводчик* говорит их одновременное употребление в одном и том же

контексте: «А с ними были у государя у руки ... переводчик Иван Боярчиков, да толмач Лаврентей Пирогов» (1650—1652); «А съ посланники посылаются подъячихъ два человекъ или три, и переводчикъ и талмачи» (Котошихин. О России в царствование Алексея Михайловича. 1666 — 1667); «Его королевское величество пожаловаль, указал дать вам, переводчику и толмачю, золотые своего королевского величества жалованья» (1667 — 1669); «Встречали ево у кореты перевотчик да подъячие, да толмачъ» (там же); «А для великого государя посолскихъ дѣлъ посланы были съ нами въ Крымъ: переводчикъ Ахметъ Шакуловъ, толмачъ Григорей Порываевъ» (1680).

Смысловое различие слов *толмач* и *переводчик* подтверждается и употреблением глаголов *толмачить* 'переводить устно' и *переводить* 'передавать текст одного языка средствами другого': «И мы де по тому письму те государевы дела велим перевести на свой аглинской языкъ» (1600); «[Посланники] царю Арапу говорили ... А толмачилъ Семень Гарасимовъ» (1613—1615); «А рѣчи посолские толмачил чернец португалские земли» (1636); «И посланники велели тот лист перевести» (1650—1652); «Василей... тотъ листъ имъ чел а толмачил Полуехтъ Кучумовъ» (1692 — 1695).

В тех же памятниках письменности встречаются также толмачество и перевод.

Под *толмачеством* понимался обычно устный перевод с одного языка на другой: «А гостем: Фряничку Иванову да Ивану Ульянову выходити [из палаты] не велено для толмачества и роспросу» (1600); «И меня посадили на маломъ корабль съ русскими людьми для толмачества, что они не знаютъ турецкаго языка» (1637); «На силу можемъ выразумѣть съ китайскимъ бояриномъ, что говорилъ между себя, потому что [толмачи] люди безграмотные п неискусные ... и такъ межъ себя боиши догадом разумѣли, нежели толмачествомъ ихъ» (1675—1678).

Под *переводом* разумели либо текст, переведенный с одного языка на другой, либо передачу текста средствами другого языка: «Перевод з грамоты, что писали ко государю ... из Аглинские земли парламентъ» (1645 — 1646); «Книга ратного строю скорописная ... прислаца для переводу из Посолсково приказу» (1649); «Езуить принесъ съ собою переводъ з двухъ листовъ старыхъ китайскихъ на латинскомъ языке» (1675—1678); «Переводъ съ хановой шертной грамоты» (1680); «Перевод с татарского писма

в грамоты какову к великимъ государемъ крымской Гаджи Селим Гирѣи ханъ писал» (1692 — 1695).

Противопоставление слов *толмач* и *переводчик* было вызвано, по-видимому, тем, что посредники при устных переговорах с иностранцами и переводчики письменных актов в то время существенно отличались один от другого и по характеру труда и по общественному положению. Толмачи относились к низшему разряду профессиональных переводчиков. Это были в первую очередь люди, умевшие говорить на одном из иностранных языков. Обширные международные связи Москвы требовали большого количества людей, владевших иностранными языками. Опытных переводчиков не хватало. К переводческой деятельности нередко привлекались выходцы из пограничных государств, пленные, иноземные торговцы, русские, прожившие какое-то время за границей. Из числа этих лиц и пополнялся в основном разряд толмачей.

К переводчикам предъявлялись более высокие требования. Переводчики имели дело не только с документами, но и с произведениями научной, светской и духовной литературы. Они не только умели читать и писать на нескольких языках, но и литературно обрабатывали изложенное, ориентировались в русской и зарубежной общественной жизни. Переводчиков было гораздо меньше, чем толмачей. Так, в Посольском приказе, одном из основных переводческих центров Московского государства, в 1622 году числилось 11 переводчиков и 21 толмач, в 1631 — соответственно 20 и 49, в 1665 — 16 и 41 (С. А. Белокуров. О Посольском приказе. М., 1906). Переводчики, как квалифицированные специалисты, получали и более высокое по сравнению с толмачами жалованье. В том же Посольском приказе переводчики получали от 12 до 150 рублей в год, а толмачи — от 8 до 36.

С 1672 года число толмачей начинает заметно сокращаться, зато увеличивается количество переводчиков. Продолжающееся расширение и усложнение международных связей Москвы требовало высокой культуры не только письменного, но и устного перевода. Труд толмача все более сближался с трудом переводчика. Особое внимание уделялось подготовке образованных переводчиков, в равной степени владевших искусством письменного и устного перевода. Для обучения иностранным языкам молодых людей отправляли за границу. Надобность в толмачах, только устных переводчиках, постепенно отпадала.

Это отразилось и в языке. Посредники при беседе все чаще и чаще начинают именоваться не *толмачами*, а *переводчиками*: «И мы посланники велели говорить переводчику Александру царю» (1650—1652); «А какъ тоѣ рѣчь переводчикъ скажетъ, и третьему человѣку послу велѣно говорить рѣчь такову» (Котошихин); «Перевотчик ваш по-французски говорить умеет ли?» (1667—1669); «Рѣчь переводил переводчик Иван Госенц по-латинне» (там же); «Потомъ бояринъ Василій Борисовичъ ... черезъ переводчика.. спрашивалъ хана о здоровьѣ» (1680).

Более широкое употребление слова *переводчик* вызвало некоторую неупорядоченность в использовании наименования *толмач*. В документах середины XVII века эти слова и родственные им нередко употребляются сбивчиво: «И Микифор рассказывал, а переводчик Иван толмачил» (1650—1652); «И тѣ ихъ [послов] рѣчи съ обѣ стороны, толмачатъ переводчики» (Котошихин); «И виделъ посланникъ, что талмачъ рѣчи не умѣлъ перевесть» (1675—1678); «Сыщутъ они въ царстве толмача разумнаго и ученаго, которой бы могъ обоихъ великихъ государей грамоты и дела совершенно перевесть» (там же); «И приказалъ [хан] по-прежнему толмачить переводчикомъ» (1680).

В дальнейшем слово *толмач* окончательно уступает место *переводчику*. В современном русском языке *переводчиками* называются лица, занимающиеся как устным, так и письменным переводом с одного языка на другой. Мы говорим: «переводчик Шекспира» и «беседа велась через переводчика». А *толмач* воспринимается ныне как историзм. Следы его сохраняются также в фамилии Толмачев и в названиях московских переулков — Малый, Большой и Старый Толмачевские.

А. М. САБЕННИЦА



Дивисься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и право, иное названье еще драгоценнее самой вещи.

Гоголь. Предметы для лирического пера
в нынешнее время



ЗАДИРА, ЗАБИЯКА

Современник А. П. Чехова, литератор и издатель Н. А. Лейкин, вспоминая свое детство, писал: «Драку начинали мальчишки, которые назывались „задирами“» (Мемуары. 1906). Современному читателю покажется странным, что Лейкин заключил в кавычки такое знакомое и привычное теперь слово *задира*. Очевидно, он воспринимал его как нечто чуждое литературному языку.

Если мы откроем 4-й выпуск «Словаря русского языка» (1900), составленный академиком А. А. Шахматовым, то заметим, что порядок расположения материала в словарной статье на слово *задира* не такой, какой был принят в этом словаре для литературных слов. Обычно в нем сначала приводятся примеры употребления слова в литературном языке, затем в говорах. Здесь же все наоборот: вначале показано распространение слова в говорах, а в конце — употребление его в художественных произведениях.

Это заставляет предположить, что для Шахматова, как и для Лейкина, *задира* еще не было словом литературного языка. Действительно, хорошо всем знакомое слово *задира*, которое мы часто употребляем, когда говорим о зачинщике ссор, драк, еще совсем недавно, в XIX веке, не было принадлежностью литературного языка.

Так, в академическом «Словаре церковнославянского и русского языка» (1847) отмечены два слова с этим значением: *забияка* и *задирищк* и нет слова *задира*. Почти одновременно оно было включено как диалектное в «Опыт областного великорусского словаря» (1852).

Слово *задира* помещают в своих словарях и списках местных слов известные собиратели диалектной лексики. В 1847 году оно приводится в перечне диалектных слов, опубликованных в «Вятских губернских ведомостях», имеется в записях М. Ф. Кривошапкина по Енисейской губернии (1865); его записал вологодский собиратель П. А. Дилакторский (1902); отметил А. Грандилевский в

записях, сделанных им на родине Ломоносова в Архангельской губернии (1907); в начале XX века оно записано В. А. Водарским в Терской и Кубанской областях. Как видим, в говорах слово *задира* было широко распространено.

Можно привести и другие свидетельства, которые показывают, что в XIX веке слово *задира* еще не входило в состав литературной лексики. Историк В. О. Ключевский, например, объясняя прозвище московского князя Михаила Ярославича — Хоробрит, пользуется словом *забияка* (Курс русской истории. 1903); писатель XIX века Железнов, толкуя выражение *сорви-голова* в произведении «Уральцы», употребил также слово *забияка*.

Собиратели областных слов и авторы областных словарей в XIX веке и в самом начале XX века при толковании диалектных слов со значением 'зачинщик ссор, драк' не пользовались словом *задира*. Так, собиратель А. Протопопов, записывавший слова в Вологодской губернии (1847), и автор «Словаря областного архангельского наречия» (1885) А. О. Подвысоцкий при определении значения слова *задора* использовали слово *забияка*; В. Н. Добровольский в «Смоленском областном словаре» (1914) толкует значение слова *задѣра* литературным *задирищик*.

Примерно с конца XIX — начала XX века *задира* начинает сразу активно использоваться писателями. Мы встречаем его у Салтыкова-Щедрина, Боборыкина, Станюковича, Потапенко, Л. Андреева, М. Горького. Например: «Перхунов и Метальников постоянно враждовали друг с другом и редко встречались, но зато, когда встречались, то начиналась бесконечная потеха: задирой являлся Перхунов» (Салтыков-Щедрин. Пошехонская старина. 1887—1889); «Во хмелю оказался [Андрей Иванович] несносным задирой и подрался» (Андреев. Сашка Жегулев. 1911). Никакой необычности в употреблении слова *задира* здесь уже незаметно; причем оно встречается не только в речи героев, но и авторской.

Процесс усвоения литературным языком слова *задира* оказался настолько стремительным, что уже А. Г. Преображенский в «Этимологическом словаре русского языка» приводит его (в статье на слово *драгь*) без тех помет, которыми он обычно отмечает областные слова. В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова *задира* сопровождается пометой «разговорное фамильярное»; *забияка* имеет помету «разговорное». Но уже в 17-томном «Словаре современного русского литератур-

ного языка» оба слова стилистически расцениваются одинаково: при них мы находим помету «разговорное».

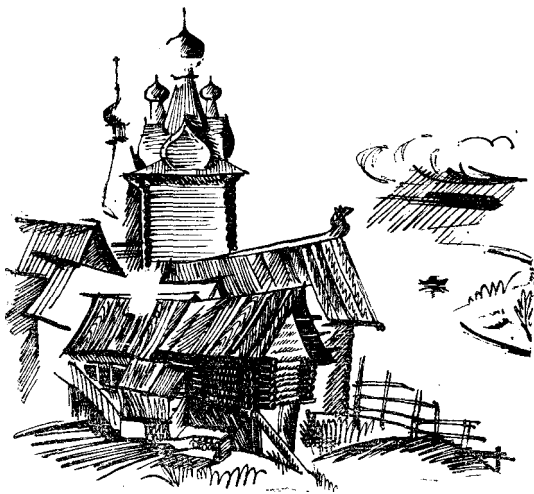
Чем же объяснить, что слово *задира* так легко и быстро вошло в литературный язык, сразу утратив диалектную окраску? Причины этого надо искать в том положении, которое занимали в литературном языке XIX века слова *забияка* и *задирищик*. *Забияка* отличалось большей употребительностью по сравнению со словом *задирищик*. Последнее использовалось редко и, очевидно, к этому времени устаревало. В словарной картотеке Института русского языка АН СССР оно представлено только двумя цитатами из произведений П. А. Вяземского, например: «Но чур, уж и меня прошу не задирать, Не то задирищиков рука моя прочит» (Вяземский. Заметки). Не случайно в 17-томном Словаре оно получило помету «устарелое», а в 4-томном «Словаре русского языка» его уже вообще нет.

Однако и слово *забияка* не могло употребляться во всех случаях вместо *задирищик*. В значениях этих слов можно отметить некоторое различие; *забияка* обычно употребляется в отношении маленьких детей, маленьких птиц, собак и т. п.: «Вот то-то мне и духу придает, Что я совсем без драки Могу попасть в большие забияки» (Крылов. Слоны и Моська); «И того ерша гуляку, Крикуна и забияку Где бы не было сыскать» (Ершов. Конек-Горбунок); «Весело летали и чирикали повсюду забияки-воробы» (Мельшин. В мире отверженных).

Между тем в говорах русского языка было несколько синонимов к словам *забияка* и *задирищик*: задёра, задора, задира, задирай, задирайка, задиральщик, задираха. Среди них слово *задира* отличалось большей, чем другие, широтой распространения; оно было известно как на севере, так и на юге. Поэтому ему было легче попасть в сферу общенародного употребления, чем другим диалектным словам с этим значением. Оно было словом того же корня, что и литературное *задирищик*, и легко воспринималось как родственное имеющимся в литературном языке словам: задирать, задираться, задиристый, задирчивый, задиристость.

Задира — слово общего рода имело преимущество перед словом *задирищик*, так как могло употребляться чаще, обозначая не только мужчину, но и женщину. Все это ускорило уход из активного употребления слова *задирищик* и приход на смену ему нового для литературного языка *задира*.

О. Д. КУЗНЕЦОВА



По карте
России

ОНЕГА

Рисунок Ю. Космлина

Названия Онеги и Пинеги, двух больших рек Севера европейской части СССР, мы получили в наследство от дорусского населения. Это субстратные названия (от латинского *substratum* 'подслои'), приспособленные к звуковому и грамматическому строю русского языка: они склоняются подобно другим существительным женского рода, как *телега*, *дорога*, только у них нет множественного числа.

Легко заметить, что эти названия имеют общую часть *-ега* (Он-ега, Пин-ега). Вы спросите, почему не *-нега* (О-нега, Пи-нега)? Видимо, так же рассуждал в свое время и академик А. И. Соболевский. Сравнивая названия рек Онега, Пинега, Авнега (Новые русско-скифские этюды. — «Известия ОРЯС», т. 31, 1926), он выделил общий компонент *-нега*, сопоставил с наименованиями южно-русских рек Неговка, Неговец и возвел к «скифскому» (иранскому) обозначению реки — «родственнику» древнеиндийского пага 'змея', латинского *necto* 'витья' (поскольку река «извивается», как змея). Увы, здесь все неверно: и существование иранской топонимики на русском Севере, и возможность употребления слова со

значением 'змея' в роли географического термина, и, главное, «выявление» компонента *-нега*. Соболевский произвольно отобрал слова на *-нега* из множества севернорусских гидронимов (названий рек) на *-ега* (Вожега, Мегрега, Чуплега, Шужега, Ялега и т. п.). Между тем именно компонент *-ега*, как и ряд других «формантов» (-ога, -уга, -юга), восходит к древнему финно-угорскому слову со значением 'река' (финское *joki*, карельское *jogi*, саамское *jokka* 'река', марийское *йогы* 'течение').

Сейчас трудно сказать, с каким финно-угорским языком связаны названия на *-ега*, но больше данных за их прибалтийско-финское, саамское или севернофинское происхождение (севернофинскими называют вымершие финские языки, промежуточные между прибалтийско-финско-саамскими и волжско-финскими языками). Как бы то ни было, второй компонент гидронимов Онега и Пинега означает 'река'. Обратимся теперь к основам Он- и Пин- и попробуем их объяснить, исходя из финно-угорских языков.

Прежде всего оказывается, что эти основы обычны в субстратной гидронимике русского Севера: кроме реки Он-ега есть озеро Он-огра, река Он-а, пожня Он-(е)-мина, луг Он-пожня (*пожня* на Севере и обозначает 'луг, сенокос'), река Он-ера; наряду с гидронимом Пин-ега находим названия рек Пин-юг и Пин-ежа, болота Пин-еж. Значит, основы Он- и Пин- обозначают что-то топонимически важное, какие-то существенные признаки географических объектов. Это, естественно, облегчает дальнейшие исследования.

Наиболее убедительно мнение, идущее еще от М. А. Кастрена и М. П. Веске: название реки Онега возникло из сочетания типа финского *Epojoki* (*ejo* 'большой' + *joki* 'река'), то есть Онега означает 'Большая река' или 'Главная река' (ср. финские *Epojärvi* 'Большое озеро', *Ejovesi* 'Большая вода'). По мнению Веске, Онега так названа в отличие от Пинеги 'Малой реки'. Однако это вряд ли верно, поскольку, во-первых, Пинега не меньше Онеги, а во-вторых, она не связана с Онегой и относится к бассейну Северной Двины.

Но и независимо от Пинеги Онега — значительная река, и ее вполне можно назвать Большой или Главной, тем более что она не относится к бассейну Северной Двины, образуя самостоятельный бассейн. Остается выяснить, могло ли начальное финское *e* перейти в русское *o*,

а не в э, почему имеем Онега, а не *Энега или *Энога. М. Фасмер, автор «Этимологического словаря русского языка», находит ответ на этот вопрос: в период заселения Севера русские слова еще не могли начинаться с э, поэтому и в заимствованиях вместо э выступает о или перед Э появляется согласный j. Так возникли русское народное Олена (древнегреческое 'Ελένη 'Елена') и Ольга (скандинавское Helgi). На русском Севере субстратные названия с начальным гласным э — редкость, причем и они чаще выступают в формах с предшествующим j, так что фонетические варианты Естваж, Едопола, Едома встречаются намного чаще, чем Эстваж, Эдопола, Эдома. Однако отсюда еще не следует, что из *Епоjоgи (карельское jоgи 'река' предпочтительнее) должно непременно возникнуть *Енега или *Енога, особенно если учесть древность заимствования. Перенос ударения на второй слог можно объяснить взаимодействием гласных на стыке двух частей сложного слова, которое привело к появлению здесь долгого гласного еще в языке-источнике.

Из других версий происхождения названия Онега наиболее заманчиво сопоставление этого названия, как и других топонимов с основой Он-, с финско-карельским onni 'счастье, удача' (ср. также засвидетельствованное в памятниках написание Онъга и соответствие финского ie русскому ъ, о чем см. ниже). Хуже сравнение с финским названием олонецких карел Aunus (П. Бутков). Против этих версий прежде всего звуковой состав финского названия Онеги — Äänis-joki.

Здесь начинается новый сюжетный поворот нашего этимологического рассказа: оказывается, что и Онежское озеро (не относящееся к бассейну Онеги!) называется по-фински — Äänis-järgvi или Ääninen. Такие выдающиеся лингвисты, как Шегрен, Миккола, Фасмер, считают возможным толковать это название из финского ääni 'шум, голос': Онежское озеро — 'Шумное (бушующее) озеро'. Значит, Онега — 'Шумная (бушующая) река'? Но и в этой версии есть камень преткновения: неизвестны случаи передачи финского ää русским о. Вот почему привлекательнее иной путь объяснения этих любопытнейших фактов. На русской почве могло произойти сближение, объединение названий озера и реки, хотя и не тождественных, но близких по своему звуковому составу. Если эти названия были заимствованы в древности прибалтийскими финнами у еще более древнего местного населения, то такое

сближение могло произойти раньше — в прибалтийско-финских языках. Сейчас трудно установить конкретный путь развития, но ясно, что русские названия Онега и Онежское озеро не следует отрывать друг от друга, как иногда делают (см. об этом: В. А. Никонов. Краткий топонимический словарь. М., 1966), хотя первоначально в дорусской языковой среде эти названия, может быть, имели разное происхождение. Вот один из возможных путей их сближения.

Известно, что прибалтийским финнам на Севере предшествовали саами. Поэтому финны могли воспринять у саами более древние названия с компонентом *ae(d)po-*, *ae(t)po-* 'река', точно соответствующим финскому *eпо*, но не понятным для финнов, тем более что звук *ae* ближе к финскому *ä* (*ää*), чем к *e*. Поэтому прибалтийские финны по народной этимологии связали заимствованные саамские гидронимы с финским *ääni*. С другой стороны, можно допустить и развитие *ää* > *e* на русской почве с последующим изменением *e* > *o*, о чем говорилось выше. Этот гидронимический детектив наглядно показывает, сколь сложны иногда вопросы, связанные с происхождением топонимов, как трудно их решать однозначно.

ПИНЕГА

Здесь нас ждет сюрприз: в названии Пинега, по данным древних памятников, раньше выступала не основа Пин-, а основа Пен-, Пън- (Пенега, Пънега). А. И. Шегрен писал, что Пинега некогда называлась *Pienega*. Эту же форму находим у С. Герберштейна в его «Записках о московитских делах». Значит, раньше в названии Пинега выступал древний *ъ* (Пънега), который затем перешел в *и*. Поскольку прибалтийско-финскому *ie* могло соответствовать русское *ъ* (> *и*) и наоборот (ср. карельское *vięgo* из русского *вѣра* и карельское *pięmi* 'мыс' > русское *-нима* в окончаниях топонимов), восстанавливаемая финская

основа слова Пинега должна иметь вид *pien(i). Действительно, в финском языке есть слово pieni, а в вепском — pei, pii 'малый', обычное в прибалтийско-финской топонимике (Pienilahti 'Малый залив', Pienisaari — 'Малый остров', Pienisuo 'Малое болото', PieniVaara 'Малая гора'). Поэтому многие видные исследователи — Кастрен, Шегрен, Веске, Грот полагали, что название Пинега означает 'Малая река'. Но если Кастрен справедливо считал, что Пинега — действительно 'Малая река' по сравнению с Северной Двиной, то Веске безосновательно противопоставлял Пинегу и Онегу.

Фасмеру эта удачная со всех точек зрения этимология показалась недостаточно обоснованной: Пинегу, по его мнению, нельзя назвать 'Малой рекой'. Поэтому он выдвинул предположение о связи названия Пинега с финпогорским словом, имеющим значение 'собака, щенок' (финское pени, pеникка, марийское пий, пинэге, саамское pienneg), то есть Пинега — 'Собачья река'. В топонимике различных народов «собачьи» названия весьма обычны (ср. саамское Пьеннэуай — 'Собачий ручей', финское Pienisaari — 'Собачий остров'), и тем не менее эта этимология намного слабее первой: «собачьи» названия, как правило, относятся к мелким географическим объектам. Можно, конечно, допустить тотемистическое происхождение названия Пинега (ср. название реки Нюлча — саамское нылч(а) 'лебедь' и тому подобные факты); однако здесь мы опять-таки вторгаемся в область недоказуемого.

Итак, наиболее вероятно, что Онега — 'Большая река' (независимо от Пинеги), а Пинега — 'Малая река' (относительно Северной Двины).

Доктор филологических наук

А. К. МАТВЕЕВ

Свердловск

КУДА МАКАР ТЕЛЯТ ГОНЯЛ?



Рисунок В. Толстоногова

Продолжаем публиковать заметки о местных названиях самых маленьких географических объектов (микротопонимах). Насколько интересный и своеобразный языковой материал содержат эти названия, можно судить по статье Т. В. Марадудиной и А. К. Матеева «Образные и географические названия» («Русская речь», 1971, № 1).

— Скажите, пожалуйста, дедушка, как этот овраг называется?

— Это, сынки, Макаров овраг.

— Почему же его так называют?

— Потому, наверное, что Макар всегда туда телят гонял.

Посмеялся над нами старик? Вовсе нет, не в телятах дело. Вот она, Макарова изба, стоит на краю деревни, ближе всех к оврагу. На другом краю молодой ельник прячется в Степановом овраге. Два колодца в деревне: Сидо-

ров колодец и Петров колодец. Приподняла и разделила деревню пополам Тети Танина горка. Леса, луга, поля, болото — все вокруг деревни имеет имя. Вот и получается, что каждый деревенский житель окружен не меньшим количеством названий, чем любой горожанин. Только в городах названия написаны на табличках, рекламных стендах и вывесках, мы найдем их в справочниках и на планах. Городские названия иначе появляются на свет, иначе живут. Об истории названий городских улиц написаны книги. А деревенские названия хранятся лишь в памяти людей и сами они, как и бесчисленные связанные с ними легенды и предания, еще не собраны.

Народные географические названия (топонимы) необыкновенно интересны. К ним все чаще обращаются историки и краеведы. Они открывают исследователям места поселений наших далеких предков и их соседей, помогают проследить пути переселения целых народов. Геологам они могут подсказать, где скрыты богатства недр. А для языковедов такие названия тоже настоящий клад. Топонимы часто очень своеобразны, не похожи на другие слова и формой, и значением. В них мы подчас находим древние, не сохранившиеся в языке формы, забытые слова, множество новых значений слов и грамматических форм, хорошо как будто известных. Иногда в них обнаруживаются свои, топонимические правила и законы, знание которых, конечно, обогащает наше представление о языке.

Географические названия иначе соотносятся с явлениями действительности, чем обычные слова. Например названия деревень Липки, Дубки, Сосенки не означают, что в этих населенных пунктах много маленьких лип, дубов или сосен. Овсище, Репнище — это названия полей, где когда-то был посеян овес (репа); такой же смысл имеют и названия Репники, Капустники.

Присмотримся внимательнее к названиям, с которых мы начали рассказ.

Макаров овраг, Петров колодец. Чей овраг? — Макаров. Но оправдан ли такой вопрос? Ведь не мог бедный Макар купить овраг.

В русской деревне Займище Черниговской области встретил я Мазаеву горку. Интересно, конечно, что жил здесь свой дед Мазай, но опять напрашивается «незаконный» вопрос: чья гора? — Мазаева. Или вот еще Виталькина горка в подмосковной деревне Василево. Витальке 11 лет, и взрослые повторяют это название вслед за деть-

ми, которым достаточно того, что Виталька живет рядом с горкой, где они вместе катаются на санках.

А «взрослое» название Петров колодец в одной деревне означает то же самое, что и название из четырех слов «Колодец у Петрова двора» — в другой. Петров колодец — колодец Петра? Значит, и здесь можно поставить вопрос «чей?».

Почему же так упорно спрашивается этот «собственнический» вопрос? Его подсказывает нам форма названия — притяжательного прилагательного. Но дело в том, что притяжательные прилагательные, помимо обычного для них в языке выражения принадлежности кому-либо, приобретают в составе географических названий новые, специфические значения. Все зависит от того, с каким существительным они соединяются.

Вот примеры географических названий с типичными значениями притяжательных прилагательных в них.

Названия Симонов Монастырь, а также и Ферапонтов и т. п. означают, что Симон (Ферапонт) основал этот монастырь.

Притяжательные прилагательные от имен, прозвищ, фамилий, соединяясь с нарицательными названиями таких объектов, как овраг, гора, колодец, обычно указывают на близость этого объекта к жилью человека, упомянутого в прилагательном: Ляксанова гора, Кутырин колодец (Подмосковье), Марфин Брод (Брянская область). Зиновьев овраг (хутор Хлебодаровка Башкирской АССР). В таких названиях выражены пространственные отношения. Это подтверждается названиями, которые как бы захвачены на промежуточном этапе своего развития и выражены многословными описательными оборотами: «колодец у Королева двора» или «колодец у тети Пашиного дома».

Можно выделить группу названий «по происшествию», действительным или легендарным: Любушкин омут, Дюков пруд, Ульянин кряж. Существует название «Поле, где волки Аринушку съели». В соседней деревне оно звучит уже как Аринушкино поле.

Есть немало названий, связанных с древними верованиями и суевериями: Ярилина плешь, Чертово городище, Чертово городище, Ведьмино болото. Обычно они отмечают места, где совершались древние обряды, или места мрачные и опасные, наводившие на мысль о «нечистой силе».

И наконец, названия, выражающие принадлежность. Чаще всего это названия лесов, земельных участков, а также объектов, созданных человеком: Люляева будка, Мазин завод (завод Мазина), Щеголев трактир, Попов пруд. Теперь этих названий почти не осталось: владельцы-то исчезли, не сохранились иногда и сами объекты.

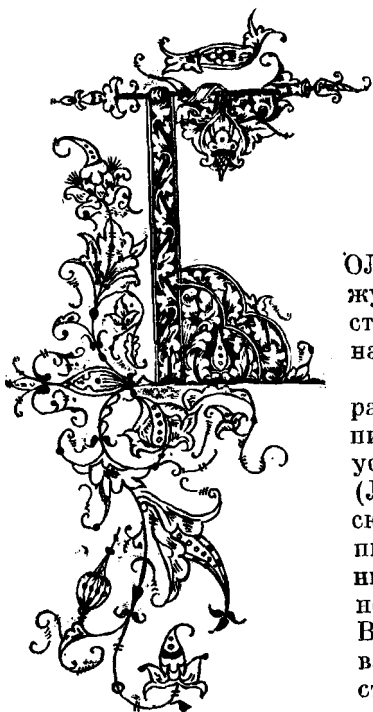
Интересно название Грехов ручей в Угличе, где, по преданию, утопился настоящий убийца царевича Димитрия. Притяжательное прилагательное образовано здесь, вопреки обычаю, от неодушевленного существительного. То же мы находим и в названиях Ракитов ручей, Мостин ручей.

Необычны названия, связанные с названиями деревень, — такие, как Ложкин враг — овраг, идущий по направлению к деревне Ложкино, Савкин лес — лес к деревне Савкино. Слово *враг* в народных говорах соответствует обычному *овраг*.

Разумеется, это лишь немногие из значений притяжательных прилагательных в географических названиях. Причем мы рассматривали названия только малых объектов: лесов, полей, оврагов, пригорков, колодцев, прудов, так как у названий населенных пунктов — свои особенности.

В небольшой заметке невозможно охватить всего богатства местных географических названий, и цель ее скромна: обратить внимание на некоторые своеобразные стороны этой группы слов нашего языка, постараться заинтересовать читателя их изучением. Стоит только вслушаться в них — и вы узнаете, как видели окружающий мир люди, их придумавшие. Присмотритесь, как расположились такие названия вокруг деревни, и вы увидите, как человек приспособлял для жизни и труда каждый клочок земли. Они откроют вам много интересных подробностей народной жизни, подарят поэзию легенд и преданий. Бережно собирайте их.

В. Б. СОРОКИН



ОЛЬШИНСТВО читателей журнала уже имеют представление о том, как писали наши предки.

Специалисты-палеографы различают в древнерусском письме три основных типа: устав, полуустав и скоропись (Л. П. Жуковская. — «Русская речь», 1970, № 4). Скоропись — самый поздний из них — получила распространение в XV—XVII веках. В этот период быстро развивается Русское государство, в стране создается административно-управленческий аппарат с большим количеством приказов в центре (Посоль-

ский, Приказ сыскных дел, Аптекарский, Сибирский и другие) и местными приказными избами, в которых ведутся следственные дела, разбираются всевозможные тяжбы, заключаются торговые сделки. Из центра на периферию едут многочисленные писцы, которые переписывают население и составляют объемистые писцовые книги. Во все уголки многонационального государства рассылаются грамоты-указы от «царя государя и великого князя всея Великия и Малыя и Белья России самодержца». Расширяются дипломатические связи Руси с другими государствами. На запад, восток и даже в да

РУССКАЯ СКОРОПИСЬ

лекие Персию, Индию, Китай отбывают русские посольства. Подробно, день за днем описывают послы новые города, встречи с различными людьми и приемы у глав государств. В Москву направляются довольно пухлые отчеты — статейные списки...

Изменившиеся условия государственной и частной жизни страны создали предпосылки для интенсивного развития письменной культуры, для появления нового типа письма, который служил бы повседневным практическим целям. Такое письмо начало вырабатываться на Руси уже в XV веке, усовершенствовалось в XVI и продолжало господствовать в письменной практике всего XVII века. Множество рукописей, дошедших до наших дней от этих времен, написано скорописью. Ею пользовались не только в практических целях. Этот тип письма применялся, хотя и реже, чем устав и полуустав, при переписывании научных, литературных, исторических произведений и книг религиозного содержания. В виде тетрадей и книг, свитков по несколько метров длиной, узких листов бумаги эти рукописи хранятся в Центральном государственном архиве древних актов, в Государственном Историческом музее, в рукописных отделах библиотеки имени В. И. Ленина в Москве и библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, в областных архивах многих русских городов: Архангельска, Вологды, Воронежа, Курска, Орла... Русские рукописи, написанные скорописью, имеются и в зарубежных хранилищах.

Сопоставление одного только общего вида различных типов письма позволяет заметить, что скоропись значи-

тельно отличается от устава и полуустава. Буквы уставного письма имеют строгий геометрический рисунок, состоят из прямых линий и тщательно выписанных дуг, выполнены аккуратно и с большим старанием (рис. 1). Буквы полуустава несколько мельче и по рисунку

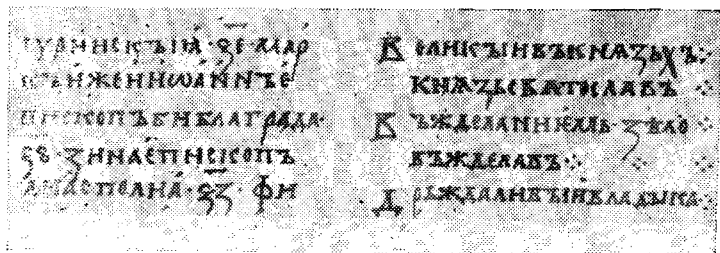


Рис. 1

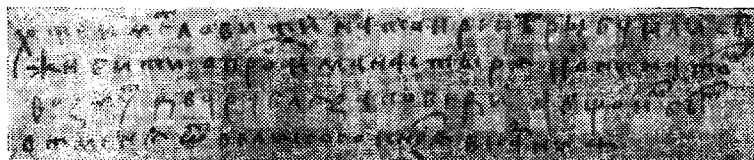


Рис. 2

проще, иногда наклонены (в одних почерках к концу строки, в других — к началу), в написании их нет каллиграфической строгости (рис. 2). При всех различиях уставное и полууставное письмо довольно близки друг к другу. Пользуясь современными представлениями, устав и полуустав можно считать как бы письмом «печатными» буквами. Совершенно иной тип письма представляет собой скоропись (рис. 3): это письмо «письменными» буквами. Наименования «печатные» и «письменные» буквы по отношению к буквам устава — полуустава и скорописи, конечно, условны, так как во всех случаях речь идет о письменном, а не печатном воспроизведении букв. Однако такое разграничение уставного — полууставного и скорописного письма позволяет исследователям довольно точно и последовательно классифицировать рукописи по типам письма и облегчает задачу даже при переходном почерке, когда бывает трудно решить, отнести его к беглому полууставу или к четкой скорописи.

Само название этого типа древнерусского письма — скоропись — удачно подчеркивает его главную особенность, основное отличие от устава и полуустава. Скоропись характеризуется ускорением процесса письма,

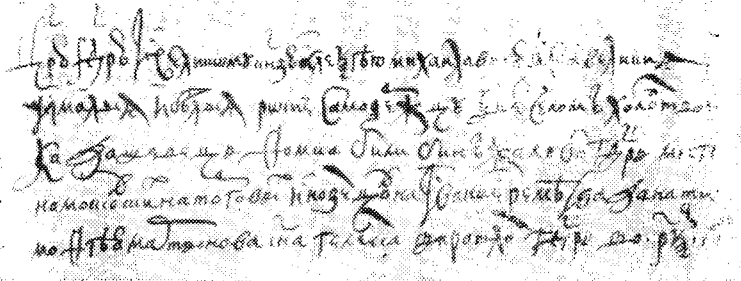


Рис. 3

которое достигается благодаря особым приемам. Одни из них совсем не были известны в уставе и полууставе, другие встречались в этих типах письма как единичные явления, а широкое распространение и дальнейшее развитие получили в скорописи.

Появление скорописи как особого типа письма стало возможным вследствие изменения прежде всего приемов написания букв. В уставе и полууставе большинство букв писали в несколько приемов. Чтобы написать одну букву, писец несколько раз отрывал перо от бумаги. Например буква *т* могла быть написана в четыре приема, *б* — в пять, *ѣ* (ять) — в шесть и т. д. В скорописи количество приемов при написании букв значительно уменьшается (рис. 4). Постепенно развивается тенденция написания всей буквы без отрыва пера. Первоначально, в ранней скорописи XV века, начали писать без отрыва пера два-три элемента буквы. Число букв, написанных в один прием, с каждым столетием увеличивалось. В скорописи XVII века уже любая буква могла быть написана в один прием. Образцы такого написания находим во многих рукописях и в прописях XVII века, которыми пользовались при обучении письму наподобие того, как по современным прописям обучают графике нынешних первоклассников.

Написание букв без отрыва пера не только заметно ускоряло процесс письма, но и вело к изменению самих

начертаний, рисунков букв. Прямые линии сменились кривыми, округлыми, увеличились росчерки элементов букв, которые выходили вверх и вниз за строку. Так, буква *ж* стала писаться с петлей справа, *ѣ* — с петлями вверху и внизу, *т* — на одной ножке с отворотом влево (рис. 4), ножка у буквы *р* из прямой линии превратилась в загнутый влево крючок. Постепенно возникают даже такие начертания, которые совершенно не похожи на начертания букв устава и полуустава. По рукописям можно проследить, как изменялся рисунок буквы *ю* (рис. 5). Сначала появились написания в один прием мачты и перекладины (вертикальная и горизонтальная линии). Со временем расположение линии мачты и перекладины по отношению к овалу менялось. Линия мачты и перекладины, приняв вид крючка, в скорописи XVII века пишется над овалом. Буква *ю* стала напоминать современное прописное *Е*. Точно также менялось начертание буквы *я*, употреблявшейся на месте современного *я*.

Интересно происхождение скорописных начертаний буквы *в*, близких к четырехугольнику и треугольнику (рис. 5). В рукописях XVI века встречается начертание буквы *в*, напоминающее букву *к*, отчеркнутую сверху и снизу. В ускоренном письме ломаная линия могла превратиться в прямую, рисунок *в* принимал вид четырехугольника. Дальнейшее ускорение в написании буквы вело к преобразованию четырехугольника в треугольник: вместо двух вертикальных прямых писали две наклонные, отчеркнутые сверху и снизу; утрата верхней отчеркивающей линии завершала окончательное изменение начертания буквы *в*. Она изображалась в виде треугольника, напоминая современную букву *Д*.

Новые приемы написания, а вместе с тем и новые рисунки букв создавали большое разнообразие в изображении одной и той же буквы. Даже в почерке одного писца буква *д*, например, могла быть представлена несколькими различными начертаниями. Так появлялись графические варианты одной и той же буквы, особенно характерные для скорописи второй половины XVII века (рис. 6). В быстром небрежном письме графические варианты разных букв могли совпадать в одном начертании. Буквы *б* и *ѳ* строчные (написанные в строке) нередко имели один и тот же рисунок и различались только по смыслу слова; знак в виде дужки часто соответствовал сразу пяти буквам: *г*, *л*, *н*, *с* и *ч* выносным, написанным над строкой

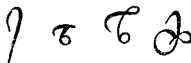
Т Б Ъ Ж


Рис. 4

В Ъ В Д П Ч
 Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю Ю
 га га га га га

Рис. 5

А А А А А А А А

Рис. 6

ѳ б. ѳ
 ѿ г, л, н, с, ч

Рис. 7

В ѳ ѿ ѿ ѿ
 а б в г

Рис. 8

ѿ ѿ ѿ
 а б в

Рис. 9

ѿ ѿ ѿ
 а б в

Рис. 10

(рис. 7). Такое графическое неразличие букв вызывало затруднение при разборе скорописи даже у самих читателей XVII века, не говоря уже о нынешних исследователях. Один писец XVII века сделал приписку в своей грамотке-письме, в которой указывал, кто может разобрать письмо его руки.

Значительное ускорение письма достигалось в скорописи всевозможными соединениями и буквами.

Некоторые соединения букв, которые образуют замкнутую графическую композицию и напоминают соединение букв вязи, были известны уже в уставе и полууставе. Почти все они встречаются и в скорописи. К ним относятся лигатуры (спайка, сплав букв, при котором совпадают их соседние тождественные части) из букв *и* и *в* (рис. 8а), «омеги» и *т*; соединения, основанные на вписывании одной буквы в другую: *се* (рис. 8б), *ве* и др.; соединения при помощи дополнительной черты, которые крупный дорево-

люционный палеограф В. Н. Щепкин называл ложными лигатурами: *че* (рис. 8в), *те*, *ре*; соединения с комбинированием различных приемов, например образование лигатуры с подчинением одной буквы другой: *тре* (рис. 8г), *тю*, *рю* и т. д. Все эти виды соединений букв, известные ранее в полууставе, в скорописи несколько видоизменяются, так как меняются приемы написания самих букв.

Широкое распространение в скорописи получает такое соединение букв, при котором элемент одной буквы удлиняется и переходит в элемент другой буквы, при этом буквы как бы нанизываются одна на другую: *ше*, *ве*, *не* (рис. 10) и др. Такие соединения писали сначала с отрывом пера, а позднее без отрыва, в один прием. В прописях XVII века приводятся соединения почти всех букв, обозначающих согласные звуки, с буквой *е*, и пишутся они в один прием.

Характерная особенность скорописи — связные написания букв, то есть написание двух или более букв в один прием, без отрыва пера (рис. 10). В других типах письма этот прием не встречается. Связные написания появляются лишь во второй половине XVI века, а особенно широкое распространение получают на протяжении XVII столетия. В один прием могли писаться соседние выносные, соседние строчные буквы, а также такие, из которых первая была строчной, а вторая выносной. В учебниках палеографии обычно отмечают только эти три вида безотрывного написания букв в скорописи: строчная и строчная, выносная и выносная, строчная и выносная. К ним нужно добавить связное написание двух букв, из которых первая — выносная, а вторая — строчная. Такие соединения отмечаются в скорописи второй половины XVII века. К этому же времени относится появление связных написаний трех, четырех и более букв, а также целиком отдельных слов. В один прием, образуя замкнутую графическую композицию, стали писать выражение *се яз*, которое начинало многие деловые документы. В царских грамотах буквы эти выписывались киноварью или красной краской и служили своеобразным украшением начала рукописи.

Помимо связных написаний и других соединений букв, в скорописи нередко встречаются наплывы одной буквы на другую, случайные соприкосновения элементов соседних букв, появившиеся в результате ускоренных размашистых написаний. Такое письмо, встречающееся уже в

ранней скорописи, в уставе и полууставе было недопустимым. Соединения, соприкосновения и перечеркивания букв создают впечатление сплошных слитных строк текста (рис. 11), в которых неподготовленному читателю

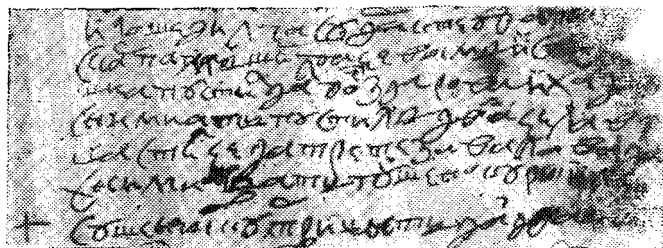


Рис. 11

трудно вычленить отдельные слова. Такой вид имели, например, черновые записи следственных дел XVII века, которые затем нередко тщательно переписывались.

Наряду с увеличением различных соединений букв постепенно развивалось графическое членение текста на слова при помощи пробелов, как в современном письме (раньше, в уставе и полууставе, текст не делился на слова пробелами). Но такое деление на слова во многих случаях не совпадало с современным. Графически единое целое образовывали предлоги, союзы и частица *не* с последующими знаменательными словами: *незнаеть*, *вомногихъ*, *вомне*. Иногда даже не было разделения стоящих рядом союза, предлога и знаменательного слова: *псываномъ* — и с *Иваном*. Такие образцы написания встречаются в скорописных рукописях XVII века, где уже имеется членение на слова пробелами.

До появления пробелов границы слов графически выражались иначе, чем в современном письме. Показателями конца одного слова и начала другого были буквы *ъ* и *ь*, которые в некоторых скорописных почерках XVII века графически совпадали в одном рисунке и переставали обозначать мягкость и твердость предшествующих согласных. Исследователи скорописных почерков XVII века отмечают также употребление в начале слов графических вариантов букв увеличенных размеров, которые выходят вверх и вниз за строку. Однако употребление таких вариантов

букв как знака начала слова нельзя считать в скорописи последовательным, оно характерно лишь для некоторых почерков.

Деление текста на слова при помощи пробелов получает распространение и становится обязательным лишь в новом письме XVIII века. До этого времени слитное написание слов не расценивалось как безграмотное. Без деления текста на слова при помощи пробелов писал еще в начале XVIII века Петр I.

В русской скорописи XV—XVII веков встречаются различные приемы сокращения слов. Вообще сокращенные написания были характерны для всей системы древнерусского письма. В уставных и полууставных рукописях чаще всего сокращенно писались слова, обозначающие основные, наиболее часто встречающиеся религиозные понятия. В древнерусских грамматических статьях даже перечислялись слова, которые нужно писать сокращенно. Прием сокращения заключался в том, что при написании слова опускались буквы, обозначающие гласные звуки, а иногда и другие срединные буквы. Над сокращенно написанным словом ставился специальный знак в виде черточки с загнутыми концами — титло. Под титлом писались слова: богъ, Иисусъ, блаженный, господь, человекъ, ангель, владыка и др. В скорописи круг слов, которые писали под титлом, значительно расширился. В скорописных рукописях XVII века находим написанные под титлом: деревня, нашъ, часть, месяц и др. В быстром небрежном письме знак титла нередко пропускаялся.

В скорописи появились сокращения, в которых оставались только две первые или одна первая буква слова. Так, слово *день* могло писаться в виде трех, двух или одной выносной буквы: днь, де, д. Буквы, обозначающие сокращенно написанные слова, нередко обводились кружками. В одной челобитной XVII века встречаем подряд четыре буквы, обведенные кружками: ц, г, с, п. Так писец передал традиционное выражение, которым обычно заканчивались прошения: «царь государь смилуйся пожалуй».

Общеизвестным в древнерусском письме приемом было такое сокращение, в котором последняя буква, обозначающая согласный звук, писалась над строкой, а следующая за ней буква, обозначающая гласный, опускалась. Над выносной буквой ставился знак титла. Этот прием сокращения особенно широкое распространение получил в скорописи. Нередко его использовали при написании

окончания родительного падежа единственного числа прилагательных и числительных. Вместо полного окончания *-ого* писалось *-о^г* с выносом буквы *г* над строкой: *ярово^г* — *ярового*, *пято^г* — *пятого* и т. д. По аналогии с окончанием *-ого* сокращенно писали также окончания *-его* (*-е^г*) и *-аго* (*-а^г*). В XVI веке изредка, а в XVII часто используются подобные сокращенные написания и других окончаний: вместо *наша деревня* — *на^ш деревня*. При этом выносная буква *ш* располагалась над буквой *а*, которая не повторялась. В рукописях такой прием сокращения встречается в самых разнообразных словах (*сы^р ваши* — *сыры ваши*, *посланы роспи^с* — *посланы росписи*, *одна лопа^т* — *одна лопата*), и не только в окончаниях, но и в середине слова: *Федо^рвне* — *Федоровне*, *О^тлова* — *Отолова* (название деревни), *ве^лль* — *велель*, *непо^рны* — *непороны*, *оте^рть* — *отереть*. Иногда пропускаются даже целые слоги: *ныне^жго* — *нынешнего* (с озвончением *ш* в *ж* перед *н*), *про^ш* — *про рожь* (с оглушением *ж* в *ш* на конце слова).

Вынос букв над строкой вообще стал одним из самых распространенных приемов скорописи, который ускорял письмо и экономил бумагу. В уставном и полууставном письме вынос букв встречался очень редко. В этих типах письма над строкой могли писать буквы в сокращенных словах под титлом и в конце строк, если не хватало места.

В скорописи увеличилось число выносных букв и расширились позиции, в которых они выносились. Самым обычным был вынос букв, обозначающих согласные звуки, в конце слова: *к^лю^ч тово ящика не забыть посла^т*. Буквы *ь* и *ъ* после выносных опускались. В середине слова буквы, обозначающие согласные, могли выноситься в том случае, если они оказывались в положении перед любой другой буквой, обозначающей тоже согласный звук (*три^це^т пя^т че^тве^ртеи*), а также перед необозначенным «йотом»: «*От Дмитрея Васи^левича жен^ь моеи Марем^ян^ь Ивановне*». В середине и конце слов выносилась нередко буква *и* после букв, обозначающих гласные: *гроше^и*, *ваше^и*, *домо^и*, *А^густовъ*, *Алексе^и Миха^илович*. Кроме того, над строкой могли писаться буквенные сочетания, которые обыкновенно соответствовали слогам: *ти*, *ли*, *ми*, *му*, *ду*, *де*, *до*.

Написание букв над строкой допускалось в строго определенной позиции, хотя и не было обязательным. В почерке одного писца одна и та же буква в аналогичных

положениях могла быть написана и в строке и над строкой. В некоторых почерках наблюдался вынос букв во всех указанных выше позициях. В таких случаях число выносных на строке могло достигать большого количества, до нескольких десятков. Дмитрий Васильевич Михалков писал в XVII веке из Москвы своей жене: «... да береги неоплошно Маремьянушка Прокофьюшка у себя и в дороге, какъ поедеш к Москвѣ, и Онтони^{де} прикажи ево беречь неоплошно, не ознобитъ ево кроши^{нки} мале^{нко} в дороге. А Деми^д Тарбѣ^в хотѣ^л мнѣ на Москвѣ вза^ммы дѣгъ да^т три ру^{бли}, и в тѣ^х дѣгахъ солга^л, не да^л мнѣ вза^ммы. А сказа^л мнѣ: на тѣ дѣги купи^л онъ поупку, и с Москвы едучи, тое поупку в Братовшине потеря^л. А на Москвѣ живучи, сено и дрова покупаю дорогою ценою...» (Московская деловая и бытовая письменность XVII века. М., 1968).

Над выносными буквами в рукописи употреблялся знак титла. В некоторых почерках титло писалось рядом с выносной буквой. В ряде случаев титло входило в рисунок так называемых титловидных букв: *н*, *д* с удлиненной влево и вправо перекладиной, *р*, *х*, *т*, *м*, *з*, *ж* (рис. 3). Рисунок выносных букв чаще всего соответствует рисунку строчных букв или их графическим вариантам; однако в начертаниях некоторых выносных букв есть незначительные отличия: буква *р* выносная обычно располагается над строкой горизонтально, буквы *з* и *ж* пишутся наклонно к строке (рис. 3). В конце XVI века в скорописи появляется рисунок выносного *м* в виде наклонной извилистой или прямой линии. Такое начертание появилось в результате безотрывного написания всей буквы. В конце XVI века появляются написанные в один прием выносные буквы и знаки титла при них. Выносные буквы с титлами становятся замкнутыми графическими композициями, что особенно характерно для скорописи XVII века (см. изображение букв *г*, *л*, *н*, *с*, *ч* на рис. 7).

Характеристика скорописи как типа древнерусского письма будет неполной, если ничего не сказать о строчных и надстрочных знаках — «не буквах». В поле зрения ученых до сих пор были надстрочные знаки в основном уставных и полууставных рукописей. Изучение надстрочных знаков скорописи еще только начинается. Над буквами согласных или несколько правее в определенных положениях ставился знак в виде запятой либо извилистой линии — «паерок» (рис. 3 — слово *в'сеа*). Чаще всего он

употреблялся на месте букв *ь* или *ъ* в предложениях: вместо *къ*, *еъ* писали *е'*, *к'*, и т. д. Над буквами, обозначающими гласные звуки, рисунок надстрочных знаков был иным. В этом положении могли употребляться всевозможные дужки (рис. 3 — дужки над буквами *а*, *е*), наклонные черточки, точки и т. д. В некоторых рукописях наклонные черточки означали ударение, в других они стояли над гласной конечного открытого слога и над начальной гласной слова. Известна скорописная рукопись конца XVI века, в которой надстрочные знаки в виде дужек расположены над каждой второй из двух рядом стоящих букв, обозначающих гласную: наука, изображений. Надстрочным знаком было и титло, о котором говорилось выше.

Мало изучены не только надстрочные, но и строчные знаки скорописи. Они могли иметь вид точек, запятых, двоеточий и всевозможных комбинаций из этих знаков. XVI—XVII века — важный этап в развитии русской письменности и книжной культуры. В это время появились первые печатные грамматические руководства с рекомендациями по употреблению различных строчных знаков. Однако применительно к скорописи еще рано говорить о системе знаков препинания, так как знаки, папоминающие точки и запятое, в рукописях не всегда соответствовали смысловому членению текста. К тому же в письменной повседневной практике обыкновенно обходились без них. В сотнях листов переписки стольника А. И. Безобразова (XVII в.) нет ни запятых, ни точек. Андрей Ильич жил в Москве недалеко от современного здания Торговой палаты. Сюда, на Ильинку, к нему приходили письма от приказчиков из его поместий в Вологодском, Боровском и других уездах. Из трех тысяч листов рукописей лишь около ста имеют строчные знаки, причем в одном письме-грамотке точки поставлены не только между словами, но и внутри слов (рис. 12).

Точки и запятые, встречающиеся в частных письмах, выполнены порой небрежно, так что иногда трудно бывает сказать, каким знаком воспользовался писец — точкой или запятой. Графическое неразличение знаков было связано и с неразличением их употребления. Как отмечают исследователи, запятая появилась в русских рукописях XV века и первоначально употреблялась в том же значении, что и точка. В скорописи можно усматривать лишь элементы пунктуации, которая складывалась на протяжении многих веков и превратилась в законченную систему в более позд-

ние времена. Даже в отношении рукописей XVII века следует говорить только о тех положениях, в которых вообще была возможна постановка строчного знака. Наиболее частое явление — точка или запятая после традиционного приветствия: «Государю моему ко мнѣ милостивому Андрѣю Ильичу работник твои Мишка Прокофьев челомъ бьетъ,»; «Государю моему Андрею Ильичу многолѣтно го-

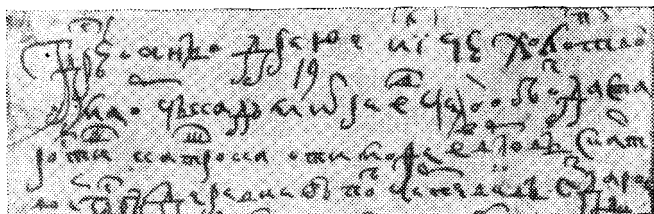


Рис. 12

сударь мой и благополучно здравствуй на вѣки.». В некоторых письмах обращение состоит из нескольких приветствий, после каждого стоит запятая: «Государю моему милостивому Андрѣю Ильичу Данилко Берестов челомъ бьет, здравствуй государь со всѣм своим праведным домом на многие и неисчетные лета,». Строчной знак ставился нередко в конце всего письма, после указания адресата: «Государю моему Андрею Ильичу,». В росписях и других деловых документах точками и запятыми разделялись однородные члены предложения при перечислениях: «конь саврас летошней купли. конь темносер лѣтошней же купли. конь сер. конь рыж.».

Иногда точками или запятыми текст делился на большие смысловые отрезки. Отсутствие знаков препинания, необходимых для лучшего понимания текста, в ряде случаев возмещалось употреблением абзацев. В рукописной традиции XVII века абзацы нередко были единственным средством членения текста, причем выделялись они несколько иначе, чем в современном письме. Чистое место оставлялось в конце предыдущей строки. Если слово умещалось на строке, писец размашисто писал последние буквы слова, чтобы перенести хотя бы часть его и далее оставить чистое место.

Всестороннее изучение графики, а особенно орфографии скорописных рукописей XV—XVII веков, еще только

начинается. Многие из сделанных наблюдений нуждаются в дополнительном рассмотрении и дальнейшем уточнении. Подробное описание графики и орфографии скорописных рукописей различных веков очень важно, так как оно даст палеографам богатый материал для датирования рукописей, время написания которых неизвестно. Глубокие знания особенностей скорописного письма помогают ученым определить подлинность рукописи. Исследователям различных специальностей всегда необходимо знать, с подлинной рукописью он имеет дело или списком. Верное прочтение скорописного текста важно и для его научного изучения; особенно важна точность прочтения текста скорописных рукописей при их издании.

Скоропись XV—XVII столетий — определенный этап в общем процессе развития русской письменности, русской письменной культуры. Знание закономерностей ее развития помогает лучшему пониманию современного русского письма.

ЛИТЕРАТУРА

- В. Н. Щ е п к и н. Русская палеография. Изд. 2-е. М., 1967.
Лингвистическое источниковедение. М., 1963.
Исследования по лингвистическому источниковедению. М., 1963.
Источниковедение и история русского языка. М., 1964.
Исследование источников по истории русского языка и письменности. М., 1966.
Вспомогательные исторические дисциплины. II. Л., 1969.

И. С. ФИЛИПОВА

Кандидат филологических наук

На стр. 108 инициал из жалованной грамоты 1619 года
(Центральный государственный архив древних актов)



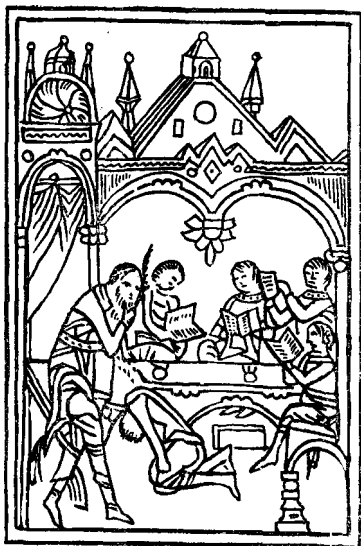
КАК УЧИЛИСЬ ГРАМОТЕ В XVII ВЕКЕ

Аетом 1686 года подьячий приказной избы города Тотьмы Арефа Малевинский написал сестре дьякона посадской церкви Анне любовное письмо следующего содержания: «Повидайся со мною, другъ мой, въ томъ же мѣсте, а мнѣ досадно, что ты вѣришь чмута́мъ [сплетням], ей уж, не могу жить, увидься как ни есть, а я буду часу в третьемъ или в четвертом, да ко мнѣ не пиши. Я сего вечера буду к тебѣ и бес писма, не могу, ей, быть, разве смерть меня с тобою разлучить...». А вот строки письма из других грамоток: «Послушай, другъ моя, да напиши немного мнѣ, буде будешь, или словомъ прикажи, я надеюсь на тебя, приди в чес [в честь], и отпиши». Из этих писем видно, что переписка «наших героев» была обоюдною.

В XVII веке тотьмичи занимались и более серьезными делами, нежели обмен любовными посланиями. В начале века «трубный мастер» Семен для нужд развивающихся соляных промыслов ищет руководство по добыче соли «Роспись как зачать делать новая труба на новом месте».

Письма посадских людей — от любовных записок до технических трактатов — свидетельствуют о достаточно высоком уровне грамотности на Руси. Грамотные люди

Училище
(Рисунок из Букваря
В. Бурцева 1634 г.)



обслуживали административно-деловую и религиозную сферы, для ведения торговых дел требовалось умение писать и считать, а иногда и знание иностранных языков, наконец, письменность использовалась и в частной переписке.

Значительное число хорошо сохранившихся документов с территории северной Руси определило выбор источников, анализируемых в настоящей заметке.

По нашим подсчетам, среди мужского населения таких торгово-промышленных городов, как Вологда, грамотность равнялась 13—15 процентам, а в Великом Устюге приближалась к 20. Великий Устюг в XVII веке оказался средоточием торговых путей в Москву, в Сибирь и через Архангельск — за границу, он имел торговые связи почти с 40 городами. В городе была съезжая изба — канцелярия воеводы, в которой, кроме постоянных подьячих, у сыскного дела сидели по очереди грамотные люди из сел и городов, подчиненных великоустюгскому воеводе; в таможенной избе брали пошлины с провозимых товаров; доходами с кабаков ведала кабацкая изба. Всего на административной службе в 1643 году, например, было «на Устюге и в Устюжском уезде в таможенных и в кабацких целовальниках и в земских судейках и в це-

ловальниках и в ямских и в ружных старостишках, кроме отъезжих служб человек по сту и больше» (Акты писцового дела).

Для написания челобитных, порядных, кабальных и других бумаг устюжане обращались к площадным подьячим, которых в 1667—1668 годах насчитывалось 53 человека, причем все они были посадскими людьми Великого Устюга.

Среди женщин грамотные встречались редко. Назовем прежде всего монахинь Горицкого монастыря (к югу от Кириллова), издавна служившего местом ссылки для представительниц знатных боярских родов. Отсюда в 1681 году княгиня Анна Хилкова писала письма раскольникам. Были здесь постриженницы и из местных учительниц, например Анися из Уломы, которая учила грамоте сына горицкого попа. А вот сведение об обучении грамоте девушки: «Учил я сирота у него попа Кирила доч ево девку Маринку книжному учению словесному» (1678).

Традиции просвещения на севере Руси имели древние корни. Имена местных книжников стоят в начале списка просветителей XV—XVII веков. Это Стефан Пермский, который на родине, в Великом Устюге, носил прозвище Храп, создавший около 1375 года алфавит для коми-зырянского народа и переведший «несколько российских словенских книг на язык пермский и учаше детей азбуке пермской и слогом и часослову и псалтири и прочим книгам на пермский язык от него переведенным»; Кирилл Белозерский и Ефросин — авторы книг и организаторы книгописного дела в Кирилло-Белозерском монастыре; безымянные авторы трех повестей, написанных в Великом Устюге в XVII веке; книгохранитель Спасо-Прилуцкого монастыря (в 6 километрах от Вологды) Арсений Высокий, осуществивший в 1584 году первое в истории библиографическое описание с постатейной росписью книг и элементами аннотации; это, наконец, десятки дьячков и подьячих, у которых училось грамоте местное население.

Из житий местных святых установлено, что около Кирилло-Белозерского монастыря было училище по обучению грамоте, что грамоте учили в одной деревне близ Белого озера и в селе около Тотмы. Хорошо было поставлено обучение в Ферапонтовом монастыре. Один крестьянин, просивший о пострижении в этот монастырь, оговаривал условие, чтобы вместе с ним жил его сын,



*Лист из рукописного экземпляра букваря
Кариона Истомина, 1694 г.*

«докамест грамоте учица и не змужает ... Пожалуйте мальчика моего Якунку в грамоте доучите мне» (1662).

Помещики отдавали своих детей для обучения грамоте сельским священникам. Так поступил и Дмитрий Корнильевич Беседной из Вологодского уезда, но наука не пошла юному наследнику впрок: «А сын мой Борис, учась в грамоте у комьянского никольского попа у Сергия, да от него и збежал» (1648).

Священники, желающие сохранить свое место за детьми, особенно были заинтересованы в обучении сыновей грамоте, так как с обязательным в то время богослужением по книге не смог бы справиться неграмотный церковнослужитель. На дьячка, сватавшегося к дочери

попа, возлагалась по брачному договору обязанность «и детей ево в грамоте учить». И поэтому дьячок Иван Кириллов из-под Вологды жаловался на своего зятя Якова Власьева, земского писца, который должен был обучить «грамотному учению» его детей, но не выполнил этой договоренности (1688).

Земские писцы и церковные дьячки, обучающие грамоте, брали обычно нескольких учеников, и обучение было коллективным. В челобитной о пронаже книги вологодский поп пишет: «А ныне тот Апостоль у диякона Гаврила Казанского, а учатся по нему ученики ... денег не платя учеников учат по ней» (1674).

Чтение Апостола, Часослова и Псалтыря, срисовывание букв с печатных образцов составляли наиболее простую систему обучения. Учителя XVII века имели и более совершенные средства. В челобитной, написанной вологодским дьячком около 1678 года, читаем: «Учил я сирота у него попа Кирила доч его дѣвку Маринку книжному учению словесному да брата ево родного Ивашка да племянника ево братня сна Ивашка Офонасева выучил имъ по азбукам».

Рукописные азбуки — эти древнерусские учебники первоначальной грамоты, создававшиеся самими учителями из-за недостатка и несовершенства печатных букварей, включали и материал для чтения, и для обучения письму. Из известных исследователям рукописных азбук две были написаны в Вологде (1643 и 1667) и одна в Великом Устюге. Вологодские азбуки в 1910—1911 годах издал Н. Маркс; великоустюгская, до сих пор не изученная, хранится в Курском областном архиве.

Азбука-пропись 1643 года «Азбукъвъ научение младым детям» состоит из двух разделов. В первом дан алфавит, прописи букв, слогов и отдельных слов, как это делается и в современных букварях. Заглавные буквы алфавита тщательно выписаны киноварью. Во втором разделе приведены материалы для чтения и переписывания — назидания, изречения, поговорки, выдержки из церковных книг, например: «Учение — свет, а неучение — тьма»; «Умному тайна явити, яко уголь вряць [горящий] в воду пустити, а безумному тайна явити, яко искра в сено пустити». Здесь и советы на все случаи жизни: «Зри очима, а внимай сердцем, и будешь умети, и надежа твоя не погибнет от тебе»; «Уму доброму учися, а старейшему человеку повинися [подчинись, послушай-

ся], а безумному ся [себя] не давай, а за правду вельми постражи [крепко стой]»; «Блюди ум свой от безумия, а честь блюди от бесчестия». Жизненные наблюдения подытожены в таких афоризмах: «Виноград зелен, да не сладок, млад ум, да не крепок»; «Добро того учить, кой бы внимал, а старого учить, аки конь необуздан водить».

Приведем еще два назидания из другой азбуки-прописи, по которой учился сын тверского помещика Данилы Ивановича Еремеева: «Аще хто хочет много знати, подобает ему мало спати»; «Аще хто не упивается вином, тот крепок бывает умом».

Во втором отделе вологодской азбуки приведены также образцы деловых бумаг: челобитной, кабалы (расписки о взятии в долг), образцы частных писем и таблица буквенного обозначения цифр, применяемого тогда в России. Включение в азбуку деловых бумаг ясно показывает, что обучение грамоте производилось прежде всего для нужд торговли, для ведения административной службы.

Азбука 1667 года содержит скорописный отрывок из «Александрии» — переводной повести об Александре Македонском, и поговорки: «Хотети умети и поучитися, а не ленитися»; «Книжная бо премудрость подобна есть солнечной светлости, но и солнечную светлость мрачный облак покрывает, а книжные премудрости и вся тварь скрыти не может» и др.

Образцы начертаний букв, приводимые в азбуках, — ценный материал для палеографов, изучающих особенности скорописи XVII века. Образцы деловой документации дают наиболее доказательный материал при исследовании формуляра документов разных типов.

Дальнейшее образование продолжалось самостоятельно, чтением книг как религиозного, так и светского содержания, которые имели лица всех сословий. Вот некоторые факты. У посадского человека г. Устюжны были сочинения Пересветова, вологжанин Аврам Корнилов имел поэтическую повесть об азовском осажденном сидении, в 1617 году сочинения Пересветова приобрел вологжанин Козманов. Сборник со сказанием «Какое Кирилл составил азбуку» принадлежал торговому человеку Верховажского посада Илье Павловичу Юринскому, книга «Зерцало» переходила по наследству в семье крестьянина Спасо-Прилуцкого монастыря Масленикова, Хронограф был

собственностью Кирила Борисова — дьяка вологодского архиепископа.

Чтобы торговать с иноземными купцами, приходилось обращаться к азбуковникам — словарям иностранных слов. Важно отметить, что азбуковники представляли собою не только списки иностранных слов, но и содержали материал для чтения по всем отраслям знания, в одной книге были собраны выдержки из разных сочинений, пришедших в Россию с Востока и Запада. (см. об этом статью Л. М. Шовгеновой. — «Русская речь», 1967, № 5. Наиболее полные сведения об азбуковниках можно найти в книге М. П. Алексеева «Словари иностранных языков в русском азбуковнике XVII века». Л., 1968).

Такой словарь был в библиотеке Спасо-Прилуцкого монастыря. Имел азбуковник крестьянин Устюжского уезда Кичменской волости Дмитрий Васильевич Карандашев. В 1699 году устюжский архиепископ Александр имел «Лексикон славенороссийский с польским наречием», были азбуковники у вологжанина Прошлецова и у монаха Кирилло-Белозерского монастыря Дорофея Зиновьева. Азбуковником пользовался казначей вологодского архиепископа Илья. Используя свое знание латинского алфавита, посадский человек Великого Устюга Афанасий Петрович Соколов даже написал на принадлежащей ему рифмованной Псалтыри Симеона Полоцкого завет от винопития во время говений: «197 году марта в 11 день на пятой недели великого поста *stradal s pochmelia velmi edwa ne wmerl i stal s tuch mist ne pit po howienüm ni wina ni piwa da i wpred ukrepi boze wo wsie howienia*».

Г. В. СУДАКОВ,
аспирант МГПИ
имени В. И. Ленина



Язык — это орудие мышления... Обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно.

А. Н. Толстой. О драматургии

Введение в языкознание

ЯЗЫКОЗНАНИЕ — ОБЩЕСТВЕННАЯ НАУКА



По просьбе постоянных читателей отдела «Введение в языкознание», студентов-филологов, учителей, старшеклассников, редакция планирует опубликовать ряд материалов о методах исследования языка, о месте языкознания в системе наук. В этом номере мы помещаем статью видного советского языковеда доктора филологических наук В. И. Абаева, специалиста по общему языкознанию, истории языка и этимологии, крупнейшего советского ираниста. Василий Иванович Абаев — составитель «Историко-этимологического словаря осетинского языка» (т. 1. М.—Л., 1958), «Русско-осетинского словаря» (М., 1970), автор таких крупных трудов, как «Осетинский язык и фольклор» (М.—Л., 1949), «Скифо-европейские изоглоссы на стыке Востока и Запада» (М., 1965), получивших высокую оценку в советской и зарубежной научной печати.

МЕРТВАЯ ВОДА ФОРМАЛИЗМА

Напомним, что под формализмом мы понимаем не просто интерес к формальной стороне явлений (подробнее об этом см. нашу статью в «Вопросах языкознания», 1965, № 3). Такой интерес — явление законное и естественное. Говоря о формализме в общественных науках, мы имеем в виду определенную теоретическую установку, согласно которой научному познанию подлежат только формы, а не сущности.

На 2-й сессии по индоевропейскому и общему языкознанию в Инсбруке (октябрь 1961) А. Нэринг выступил с докладом «Струк-

турализм и история языка». В докладе дана здравая оценка некоторым направлениям современного лингвистического модернизма и наглядно продемонстрирована вся их безотрадность. Докладчик особо остановился на усилиях модернистов изгнать из языкознания понятие значения, поскольку это понятие мешает формализации и математизации лингвистики. «В операциях, проводимых над языком структуралистами, язык испускает дух на операционном столе. Формализующий и математизирующий подход отнимает у него жизнь, так как такой подход стоит в резком противоречии с сущностью языка. Ведь в языке мы имеем дело не с независимыми от человека величинами, как в математике, а с созданиями человеческого духа, в которых отражается человеческое мышление. Но оно (мышление) отлагается именно в содержании языковых форм, в их значении и в их смысле. Поэтому совершенно непостижимым ослеплением является, когда структуралисты объявляют значения „экстралингвистическими“ категориями и изгоняют их в „нелингвистический мир“. Вне языка и независимо от него не существует никаких значений, а акустический образ без значения — не более как пустой звук».

Обращать живое в мертвое — в этом заключается сущность всякого формализма. Отсюда усилия «отвлечься» от значения и от истории. Ибо значение — это жизнь, и история — это жизнь.

Отнимите у языка значение и историю, и вы получите труп. А с трупом можно проделывать любые операции. Операции эти не имеют и не могут иметь никакого отношения к гуманитарному языкознанию, так как последнее занимается языком как вечно живой и изменяющейся социальной и исторической категорией. Лингвистика, пересаженная из своей родной, гуманитарной среды, где она постоянно чувствует локоть других гуманитарных наук, в чужую среду абстрактных математических дисциплин, усыхает так же, как дерево, пересаженное в неблагоприятную почву.

Кажется, что структуралистов имеет в виду Гете, когда он в «Фаусте» осмеивает тех, кто «спешит явленья обездушить, забыв, что этим в них нарушит одушевляющую связь».

Недоразумением является ходячая антитеза: «традиционная лингвистика» — «структурализм». Таким путем внушается мысль, что нечто отсталое противостоит чему-то новаторскому. Ничего похожего в действительности не имеет места. Структурализм — разновидность формализма. А формализм так же древен, как мир. От магистральной линии реалистической философии, науки и искусства время от времени отходят никуда не ведущие формалистические тупики. Структурализм — один из этих тупиков. Ничто так не традиционно, как формализм. Тот, кто на вопрос «что такое день?», ответил: «день — это то, что не похоже на ночь», был первым фор-

малистом и структуралистом. Чтобы быть формалистом, не нужно особого интеллектуального усилия. Нужно только дать волю той формалистской закваске, которая сидит в каждом из нас. Усилие нужно, чтобы преодолеть формализм.

Стихийный и традиционный формализм донаучной лингвистики был преодолен историческим и гуманитарным языкознанием XIX века. Но традиция формализма снова возродилась в структурализме, частично еще в младограмматизме. Так обстоит дело с «новаторством» структурализма.

Что касается «традиционности» гуманитарного языкознания, то и здесь надо внести ясность. Термин «традиционный» может навести на мысль о неподвижности и застое. Ничего похожего в гуманитарном языкознании не наблюдается. Оно все время находится в движении и развитии. Много ли мы знали, например, в начале нашего века о субстратной и ареальной лингвистике? Или о социолингвистике? А теперь эти понятия прочно вошли в наш научный обиход. Непрерывное обогащение новыми идеями и перспективами — неотъемлемое свойство гуманитарного языкознания. Оно является традиционным только в одном смысле: в том, что оно всегда остается гуманитарным, то есть мыслит познание языка как один из аспектов познания человека. Человек же — нечто неисчерпаемое, а потому неисчерпаемы и возможности гуманитарного языкознания. В отличие от языкознания формалистского, ему не грозит никакой застой и никакой тупик.

В современном языкознании противостоят друг другу не традиция и новаторство, а реализм и формализм, гуманитарный и негуманитарный подход к языку. Поэтому противопоставление «традиционная лингвистика» — «структурализм» надо отбросить как насквозь ошибочное и вводящее в заблуждение. В действительности противостоят и всегда будут непримиримо противостоят языкознание реалистическое и формалистическое.

Иссушение лингвистики в результате ее формализации и математизации нельзя рассматривать как изолированное явление, в отрыве от общих идеологических процессов. Модернистская лингвистика (так же как модернистская литература и модернистское искусство) есть прямое выражение того бегства от идеологии, которое намечилось уже давно. Правда, давно же и замечено, что бегство от идеологии — это тоже идеология и притом далеко не безобидная.

Мы видим, что «непостижимое ослепление», о котором говорит А. Неринг, не так уже непостижимо. В нем есть свой смысл. Слепым бывает не только тот, кто не может видеть, но и тот, кто не хочет видеть. И эту последнюю слепоту труднее излечить, чем первую. Мы имеем в виду тех, кто совершенно не задается вопросом,

какие идейные течения вызывают к жизни те или иные направления в языкознании. Вопросы лингвистической теории неотделимы от общих мировоззренческих вопросов, а эти последние следует рассматривать в широком контексте современной борьбы идеологий. Кто не дает себе труда разобраться в идеологической ситуации нашего времени и озабочен главным образом тем, как бы не упустить какую-нибудь модную западную новинку, как правило, оказывается путаником в теоретических вопросах. Подобная путаница нередко наблюдается сейчас в основном вопросе о сущности, характере и методах лингвистической науки.

Чтобы выключить гуманитарную науку из идейной борьбы нашего времени, есть и такой простой способ: объявить ее негуманитарной наукой. Конечно, это шаг отчаянный. Но некоторые современные модернисты считают, что лингвистику следует отделить от других общественных наук, как науку особого рода, близкую к наукам математическим.

Когда Муллу Насреддина упрекнули в том, что взятый котел он вернул разбитым, Мулла, не смутившись, ответил, мол, во-первых, котел всегда был разбитым, во-вторых, я вернул его целым, в-третьих, я вообще не брал никакого котла. «Спасающиеся» от идеологии лингвисты прибегают примерно к такой же логике: во-первых, мол, идейная борьба в гуманитарных науках стала анахронизмом, а во-вторых, языкознание вообще не гуманитарная наука.

Само собой очевидно, что ответ на вопрос, является ли языкознание общественной наукой, с необходимостью вытекает из ответа на другой вопрос: является ли язык общественным явлением. Не прибегая здесь к пространной аргументации, мы только позволим себе высказать наш взгляд в форме тезиса: в языке от тончайших оттенков фонемы до тончайших оттенков стиля нет ничего, что не было бы общественно обусловленным. Вырвать язык из гуманитарного мира можно только с мясом и кровью, горячей кровью миллионов поколений, вложивших в творчество языка свою мысль, волю и чувство. Странно бывает слышать, когда говорят, что кто-то «переоценивал» или «переоценивает» социальную обусловленность языка. Переоценить ее невозможно, ибо в языке все, сверху донизу, является общественно обусловленным. Другое дело, что эта обусловленность в разных сферах языка проявляется очень различно и порой очень не просто. Игнорировать эту сложность и многообразие социальных связей языка, упрощать и вульгаризировать эти связи, как это имело место в прошлом и в советском языкознании, совершенно недопустимо. Но упрощенчество и вульгаризация достойны сожаления при любом подходе. Спору нет, вульгарный социологизм — это очень плохо. Но, скажем, вульгар-

ный математизм — несколько не лучше. Вульгаризировать можно все, любую хорошую идею. Но это не опорочивает самой идеи.

Идейная стерилизация общественных наук путем их формализации и математизации — это болезнь, которую нужно преодолеть. Она до крайности сужает познавательное значение наших наук и сводит на нет их идейно-воспитательное значение.

Формализм в искусстве, литературе и общественных науках — не выдумка, не ярлык, не жупел. Формализм — объективное, четко характеризованное порождение идейной опустошенности и бесплодия, очень живучее и нередко — под флагом новаторства — весьма воинствующее и агрессивное. Формализм всегда противостоял и противостоит всему идейно значительному, социально наполненному в искусстве, литературе и общественных науках. Вот почему борьба против формализации общественных наук становится важной составной частью общей борьбы против слепых сил, ведущих человечество к духовному вырождению. Ни один ученый гуманитарного профиля не имеет нравственного права стоять в стороне от этой борьбы.

ЗАКАТ СТРУКТУРАЛИЗМА

Формализация языкознания наметилась еще в конце прошлого столетия в работах младограмматической школы и получила законченный вид в некоторых направлениях современного структурализма.

Младограмматики первые стали тяготиться идейной «перегруженностью» своих предшественников, основоположников исторического языкознания. Они стремились облегчить этот «груз», разрывая связи языка с жизнью общества и общественным сознанием. Структуралисты пошли еще дальше в этом направлении, выкинув за борт все значимое в языке и сведя язык к системе абстрактных отношений.

Согласно распространенному мнению, заслуга структурализма состоит в том, что он впервые стал рассматривать язык как систему. Это мнение нельзя признать точным. Взгляд на язык как на систему так же древен, как само языкознание. Древнеиндийский грамматист Панини не мог бы создать своей замечательной грамматики, если бы в его голове тысячи разрозненных фактов санскрита не выстроились в систему. Всякое, даже самое плохое грамматическое описание предполагает представление о системности языковых явлений и не может быть реализовано без такого представления. Корифеи научного языкознания XIX века также отдавали себе ясный отчет в том, что язык — это система. И для В. Гум-

больдта, и для Я. Гримма, и для А. Шлейхера, и для многих других представителей «традиционного» языкознания системность языка была чем-то само собой разумеющимся. Суть в том, что для них язык был системой значимых единиц, тогда как для ортодоксального структурализма язык — система чистых отношений в отвлечении от содержания соотносимых величин и их социальной и исторической обусловленности. Такую лингвистику можно, не погрешая против истины, определить как лингвистику в пустоте.

Восход структурализма, явившегося в ореоле новаторства, был бурным и стремительным, как лесной пожар. Закат его тускл и скучен, как угасание коптящего огарка.

Крайние виды формализма, схематизма и схоластики в лингвистике, лишая язык его живой души, все более теряют приверженцев. В связи с этим отдельные структуралисты исподволь осваивают понятия гуманитарной лингвистики, принципиально несовместимые с ортодоксальным структурализмом: признают, что в языке приходится считаться не только с формами, но и значениями. Возникают более или менее уродливые гибриды из негуманитарной и гуманитарной лингвистики. Эти эклектические образования используются для того, чтобы парировать критику. Оказывается, новейший структурализм уже не тот, что прежде; он не игнорирует смысловую сторону и даже считается с историей. Обвинения в противном применимы только к структурализму 30-х годов, но, дескать, несправедливы в отношении структурализма 50-х и 60-х годов.

Что же происходит в действительности? А происходит вот что. В 30-е годы некоторые горячие головы из лагеря лингвистического модернизма всерьез верили, что гуманитарному языкознанию пришел конец, что настала новая эра, эра структурализма. Однако годы шли и становилось ясно, что гуманитарное языкознание и не думает помирать; что, напротив, оно полно жизненных сил и обогащается новыми идеями и перспективами; что ему не грозит никакой упадок и никакая научная изоляция; что в изоляции могут оказаться и действительно оказываются наиболее последовательные разновидности структурализма (печальная участь глоссематики кое-чему научила). Приходится снова возвращаться к некоторым идеям «похороненного» было гуманитарного языкознания, при этом с явным ущербом для внутренней цельности и логичности ортодоксальной структуралистской теории. Раздаются призывы к «единству лингвистики» и «сближению». В игру вводятся понятия, отказ от которых и составлял в свое время новаторскую сущность структурализма. Вот это-то вынужденное отступление и выдается за новый этап. Тотальное банкротство лингвистического формализма преподносится как здоровая эволюция.

В действительности ортодоксальный структурализм может развиваться только в одном направлении: в направлении туника. Другого развития ему не дано. А в этом направлении он продвигается весьма успешно.

Некоторые структуралисты, обозначая общепонятные вещи самосильно придуманными условными знаками и выстраивая эти знаки в линейные или фигурные схемы, думают по наивности, что применяют математический метод. В действительности, как правильно отметил А. Ф. Лосев («Вопросы языкознания», 1968, № 1), подобные схемы имеют лишь стенографический, а не математический смысл. От обычной такая стенография отличается тем, что она никому не нужна, кроме ее авторов.

Лингвистический структурализм неразрывно связан со структурализмом философским. Последний пришел на смену экзистенциализму и имел известное основание противопоставить объективизм своего метода субъективизму экзистенциализма. Однако в философии важен не только объективизм, но и глубина познания. Можно весьма объективно скользить по поверхности, не доходя до движущих сил и основных сущностей. В гуманитарной сфере это означает — не доходить до главного и единственного объекта и субъекта познания: человека.

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ЕСТЕСТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ?

В современной лингвистической литературе мы часто встречаем выражение «естественные языки». Какие это «естественные»? Может быть, имеется в виду мяуканье кошки, лай собаки или карканье вороны? Нет. Речь идет о языках, на которых мы с вами говорим, на которых говорят все люди на земле. Русский, английский, китайский, другие национальные языки, оказывается, все это «естественные языки». Но вот что любопытно. У тех же авторов, которые склоняют во всех падежах «естественные языки», мы можем прочесть и такой тезис: связь между звучанием и значением в языке не является естественной. Как же так? Связь между звучанием и значением — не естественная. А система этих связей, которая и составляет язык, оказывается естественной. Непостижимым образом эти теоретики не замечают заложенного здесь вопиющего противоречия. Как можно называть «естественным» язык, в котором отложились многотысячелетние творческие усилия человека?

Какой бы аспект языка мы ни взяли, эпитет «естественный» неприложим к нему. Как познавательно-экспрессивная система, язык

стоит в одном ряду с фольклором, литературой, искусством, и, стало быть, сочетание «естественный язык» — такая же бессмыслица, как «естественный фольклор», «естественная литература», «естественная живопись», «естественная музыка».

Если иметь в виду другой аспект языка — коммуникативно-технический, то здесь язык стоит в одном ряду с другими техническими достижениями человека, и, стало быть, выражение «естественный язык» — такая же нелепость, как «естественная техника».

Ни в функциональной, ни в материальной природе языка нет абсолютно ничего, к чему применимо было бы определение «естественный». Даже звуки речи, которые по их обусловленности физиологическим аппаратом могли бы, казалось, называться естественными, являются в действительности не естественными звуками, а социально отработанными фонемами.

Мы не случайно остановились на бессмысленном выражении «естественный язык». В нем нельзя видеть только безобидный терминологический ляпсус. Оно «работает». И работает оно на отчуждение языкознания от смежных гуманитарных наук: социологии, этнологии, фольклористики, литературоведения. В самом деле, если предмет языкознания — явление естественное, то и сама эта наука должна относиться к естественным, а не общественным наукам. Вот куда ведут некоторые терминологические «ляпсусы»!

ЯЗЫК И ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Ядерный век поставил человечество перед небывалой альтернативой: либо духовно преобразиться, либо погибнуть. Человек должен стать человечнее для того, чтобы жизнь продолжалась. Человечность понимается при этом не только как моральный, но так же как интеллектуальный и эстетический идеал. Торжество гуманизма всегда было мечтой лучших людей. Но, пожалуй, никогда прежде оно не выполняло такой значительной роли в деле сохранения человечества.

Содействовать в меру своих возможностей торжеству гуманизма — великая и благородная миссия общественных наук нашего времени. Чтобы справиться со своей задачей, общественным наукам нужны единство и высокая идейность. Единство гуманитарных наук, преодоление их внутреннего разброда в результате формалистических вывертов необходимо, потому что, только будучи едиными в понимании своего назначения и своей методологии, они смогут выполнять задачу формирования нового человека. Высокая идейная направленность — необходимое условие, чтобы гуманитарные науки могли во всеоружии участвовать в великой духовной битве нашего времени: в борьбе за человека.

Могут сказать, что языкознание — не та общественная наука, на которую ложится столь высокая ответственность за гуманистическое воспитание. Что его возможности в этом отношении ограничены. Что основное бремя ложится здесь на философию, социологию, историю. В том, однако, и дело, что языкознание — наука и философская, и социологическая, и историческая. Ее возможности во всех этих трех аспектах огромны и во многом пока даже не выявлены полностью. Потенциальная многогранность и богатство нашей науки соответствуют многогранности и богатству того чудесного дара — языка, который она изучает.

О языке как изумительнейшем создании человеческого гения, о его роли в жизни человека и общества, в формировании общественного сознания сказано немало вдохновенных слов. Тем досаднее, что голос языкознания как гуманитарной науки звучит сейчас еще довольно слабо.

Конечно, ни одна общественная наука, взятая в отдельности, не может стать решающим фактором в процессе формирования нового человека. Но если все они проникнутся одной глубинной идеей, идеей утверждения человеческой ценности, они могут сделать многое.

Гуманистическое мировоззрение не сваливается на человека в готовом виде, как дар небес. Оно складывается, начиная с детства, из крупиц, рассеянных повсюду: в самой жизни, в языке и фольклоре, в искусстве и литературе, в каждой гуманитарной науке. Здесь нет ничего лишнего, ничего второстепенного, ничего такого, чем можно было бы пренебречь. Одно представляется бесспорным: формализованное языкознание совершенно непригодно для этих целей.

Говоря об искусстве, К. Маркс писал, что человечество созерцает самого себя в созданном им мире. Язык как создание творческого гения человечества стоит в одном ряду с искусством, и нам нужно такое языкознание, которое позволило бы человеку созерцать в языке самого себя. Поэтому всякий шаг, который мы сделаем к преодолению формализма в лингвистике, приблизит нас к искомому идеалу.

По моей научной работе мне много приходится заниматься историей слов, и должен сказать, что это не только увлекательнейшее занятие, полное познавательного интереса, но во многих случаях и школа гуманизма.

Язык изобилует примерами активно-творческого сознания действительности многими поколениями как в плане чисто познавательном, так и в плане этическом и эстетическом. В семантике слов заключена своя философия, и эта философия — в основном гуманистическая. При этом не абстрактная, оторванная от жизни,

а неразрывно связанная с общественной практикой. В языке человек выступает одновременно как мыслитель, как поэт и как практик-труженик. Открывать в языке человека как труженика, как мыслителя и как поэта — в этом высшая задача гуманитарного языкознания.

В недавнем прошлом в нашей лексикографии наметилась тенденция превращать в массовом порядке полисемию в омонимию. Скажем, *добрый* в смысле 'хороший' («добрый конь») и *добрый* в противоположность *злому* рассматривать не как два значения одного слова, а как два разных слова. Пишущему эти строки пришлось выступить с критикой подобной практики в советских словарях (см.: «Вопросы языкознания», 1957, № 3; «Лексикографический сборник». Вып. IV. М., 1960). Полисемия (многозначность) — это жизнь слова. Разорвите два значения слова *добрый* и подайте как две разные лексические единицы — и вместо одного живого, блестящего разными гранями слова получите два трупа.

Многозначность — одно из ярких проявлений творческого начала в языке. Это — и чудесный дар обобщения, составляющий основу научного познания; это — и блеск метафор с их образно-поэтическим осознанием действительности; это — и причудливая игра мысли, раскрывающая в слове все новые и новые потенции выразительности.

Существует, однако, и другой взгляд на многозначность слова — как на досадную помеху на пути к формализации и моделированию лексической системы языка. Я не намерен здесь оспаривать такой взгляд. Но хочу отметить, что на частном примере с многозначностью хорошо видно размежевание двух подходов к языку. С одной стороны, полисемия как творчество. С другой — полисемия как неудобство для формализации. Это и есть противоречие между гуманитарным и негуманитарным языкознанием.

Нужно ли говорить, что только первое может принять какое-то участие в идейной борьбе нашего времени. Второе в этом отношении вполне бесплодно. Задачам гуманистического воспитания отвечает такая лингвистическая наука, которая раскрывает язык как общественную духовную ценность, а историю языка — как непрерывный творческий процесс. Для этого надо вести изучение языка таким образом, чтобы ясно обозначились во всей широте и многообразии связи языка с объективной действительностью, с жизнью общества, со всей культурой, со всем духовным миром человека. Язык заслуживает лучшей участи, чем служить материалом для псевдоматематических манипуляций. Изучение языка, его строя, его употребления, его истории может и должно стать важным элементом гуманитарного образования.

Чтобы не быть неправильно понятым, я хочу в заключение сказать, что не считаю, конечно, указанную задачу единственной, которая стоит перед нашей наукой. Язык — слишком сложное и многогранное явление, чтобы его можно было исчерпать каким-нибудь одним подходом. Перед языкознанием стоят многообразные задачи как теоретического, так и описательного и прикладного порядка. И если я стремлюсь здесь привлечь внимание к идейной стороне нашей науки, то это потому, что, по моему убеждению, мы живем в такое время, когда из каждого гуманитарного учреждения, из каждого гуманитарного журнала должен раздаваться страстный голос в защиту неумиряющих ценностей, в защиту человека, в защиту гуманизма. Александр Блок писал:

Сотри случайные черты,
И ты увидишь: мир прекрасен.

Случайные черты в нашей науке — это формалистические упражнения, которыми увлеклись некоторые наши языковеды. Эти черты сотрутся, и мы увидим, что наша наука — прекрасна.

Доктор филологических наук
В. И. АБАЕВ



...Дивной вязью он [народ] плел невидимую сеть русского языка: яркого, как радуга вслед весеннему ливню, меткого, как стрелы, задумчивого, как песня над колыбелью, певучего и богатого. Он назвал все вещи именами и воспел все, что видел и о чем думал, и воспел свой труд. И дремучий мир, на который он накинул волшебную сеть слова, покорился ему, как обузданный конь, и стал его достоянием и для потомков его стал родиною — землей отчич и дедич.

А. Н. Толстой. Родина

СЛОВАРЬ ПРОИЗНОШЕНИЯ И УДАРЕНИЯ

(Продолжение. Начало в № 4, 1971)

благословѣніе [не благословѣніе]
блѣклый [не блѣклый]
блѣкнуть [не блѣкнуть]
блесна [не блѣсна]
блѣстка [не блѣстка]
блѣф [не блѣф]
блѣяніе (доп. блейніе)
блѣять (доп. блейть)
блокированный (устар. и проф. блокирванный)
блокировать (устар. и проф. блокирвать)
блудница [не блудница]
блюдо, множ. блюда, блюдам [не блюда, блюдам]
блюдец, род. множ. блюдец [не блюдецв]
блүминг [не блүминг]
бобр и бобёр (животное)
бобёр (мех бобра)
боль, род. множ. болей [не болей]
бомбардировать [не бомбардировать]
бомбоньёрка [не бомбоньёрка]
бондарь и бондάρь
браконьёр [не браконьёр]
браконьёрство [не браконьёрство]
браконьёрствовать [не браконьёрствовать]
братъ, прош. брала, брало [не брала, брало]
бредовой (разг. бредовый)
брѣзгать и брѣзговать
брильянт и бриллиант

бронировать (закреплять что за кем-н.)
бронировать (покрывать сталью, броней)
броня (защитная стальная обшивка)
броня (закрепление какых-либо прав за кем-н.)
брыцать [не брыцать]
будущий [не будущий]
буксировать (устар. и проф. буксировать)
булочная (пш)
бунтовщик [не бунтовщик]
бунтовщица [не бунтовщица]
бутербрѣд (тѣ)
бухгалтер, множ. бухгалтеры [не бухгалтеря]
бытїе [не бытїе]
бѣф [не бѣф]
бюлетѣнь, род. -тѣня [не -тнѣя]
бюрократія [не бюрократія]

Валѣжник [не валѣжник]
валовой [не валовый]
вальдшнеп [не вальдшнеп]
вальсировать (устар. вальсировать)
вахтёр (устар. вахтер)
вахтёрша (устар. вахтерша)
введенный [не введенный]
ввезенный [не ввезенный]
вдовствѣ [не вдовство]
величественный, кратк. ф. величествен [не величественен]
верба [не верба]

вербовщик (разг. вербовщик)
вероисповедание [не вероиспове-
дание]
вёртел [не вертёл и не вёртел]
верховенство [не верхóвенство]
весь; вся, всёй [не всёй]
ветряной (действующий силой
ветра)
вётряный: вётряная оспа (разг.
ветряная и ветряная оспа)
вечера [не вечеря]
взаимы [не взаимы]
взять, прош. взяла, взяло [не
взяла, взяло]
видение (способность видеть)
видение (мираж)
винтить, винтишь (разг. вин-
тишь)
вираж, род. -ажá (поворот)
вираж, род. -ажа (раствор)
вклеить (устар. вклейть)
включённый [не включенный]
включить(-ся); включишь(-ся)
[не включишь(-ся)]
вменённый [не вмененный]
внесённый [не внесенный]
вовремя [не вовремя]
вогнутый [не вогнутый]
военачальник [не военоначаль-
ник]
возведённый [не возведённый]
возложенный [не возложенный]
волшебство [не волшебство]
вор, вора [не вора]; множ.
воры [не воры]
восприёмник [не восприёмник]
вперегонки [не вперегонки]
вред, вреда, о вреде [разг. о
вреде]
временщик [не временщик]
времячисление (устар. вре-
мячисление)
времяпровождение (разг.
времяпровождение)
всплыть [не всплыть]
всучить [не всучить]
втридорога [не втридорога и
не втридорога]
выбор, род. -ров [не выбора,
род. -ров]
выговор, множ. выговоры [не
выговора]

высокó и высо́ко [не вы́соко]
вьюга [не вьюга]
вязанка (вязаное изделие)
вязанка (связка, охапка)

Гаёрство [не гаёрство]
газирóванный [не газирóван-
ный]
газирóвать [не газирóвать]
газопровóд [не газопровóд]
галоша и калоша
гамбит [не гамбит]
гаранти́рованный [не гаранти-
рованный]
гардемари́н, род. множ. гарде-
мари́нов и гардемари́н
гардерóб (де)
гаревóй (проф. гáревый: гáре-
вая дорожка)
гастрóном [не гастрóном]
гастрóномия [не гастрóномия]
гасящий [не гасящий]
гектáр, род. множ. гектáров
(разг. гектáр)
геликóптер [не геликóптер] и
доп. геликóптер
генезис [не генезис]
георгíн, род. множ. георгíнов
(проф. георгíна, род. множ.
георгин)
герб, род. герба [не герба];
множ. гербы, -ов [не гер-
бы, -ов]
гербовый [не гербовый, гербо-
вой]
гиревóй [не гиревый]
гладильный [не гладильный]
гладильщик [не гладильщик]
гладильщица [не гладильщица]
глазирóванный [не глазирóван-
ный]
глазирóвать [не глазирóвать]
глашата́й [не глашата́й]
глубоко и глубоко
глушить, глушú, глушишь
(разг. глушишь)
гнать, прош. гнала, гнало [не
гнала, гнало]
гнить, прош. гнила, гнило [не
гнила, гнило]
(Продолжение в следующем но-
мере)

НАРОДНЫЕ



НАЗВАНИЯ РЫБ

(Продолжение)

Кумжа (*Salmo trutta*).
Кумжа как местное название преимущественно в северной Карелии, на Кольском п-ве, местами в Арх. *Ловьяшка* р. Свирь. *Таймень*, *тамёшка* Балтийское м.: Финский зал. *Форель* Ленингр.: р. Луга.

Ручьевая форель (*Salmo trutta* Linné *morpha fario*). *Красулька*, *красуля* Перм., средн. теч. Волги. *Крощица* (молодь) р. Нарова, верхн. теч. Волги. *Крощица* (молодь) р. Нарова. *Кумжа* Кольск. п-ов. *Варзуга* Кольск. п-ов: р. Варзуга. *Лень* Перм. *Лох*, *лошк* средн. теч. Волги. *Пеструха* юг европ. части РСФСР. *Пеструшка*, *пестряк* Белое м., верхн. и средн. теч. Волги, Кубап. *Трощица* запад европ. части РСФСР.

Озерная форель (*Salmo trutta* Linné *morpha lacustris*). *Бориска* (молодь) Ленингр. *Крощица*, *крощица* Псковско-Чудское оз. *Крощица* Онежское оз. *Торпа*, *торпинка*, *торпичка* Онежское оз.

Корюшка (*Osmerus eperlanus*). Повсеместно. *Корюха*, *кoryшка*.

Ладожско-онёжская озерная корюшка (*Osmerus eperlanus natio ладоgensis*). *Каменщик* (отнерестившиеся особи) южн. часть Онежского оз. *Кёреха* Онежское оз. *Корех* КАССР: Водлозеро; Волхов. *Кореха* КАССР: Водлозеро. *Корюха* Ладожское оз., Волхов. *Снеток* Волхов.

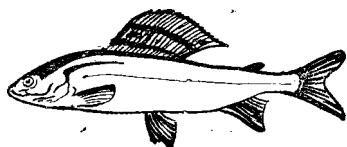
Снеток (*Osmerus eperlanus spriginchus*). Близок к корюшке. *Большун* (крупн.), *быстрец* (крупн.), *валовой*



(мелк.), *водак* (крупн.) Ильмень, Волхов. *Глупуша* (мелк.) Пск.: южн. районы. *Игрунок* Ильмень, Волхов. *Корех*, *кореха*, *кoryха* КАССР: Водлозеро; Арх., Волог., Ильмень, Волхов. *Корюшка* КАССР: Водлозеро; Пск., Волхов. *Корешок* Арх. *Кровопоица* Ильмень, Волхов. *Лодённый снеток* Белое оз. *Молина*, *моль*, *молявина* (крупн.) Белое оз. *Наростная корюшка* (корюшка, вылавливаемая весной) Арх. *Сеголёток* Белое оз. *Снет*, *снеток* КАССР: Водлозеро; Псковско-Чудское оз. Белое оз., Ильмень, Волхов; Валдайское оз.; оз. Селигер, Вселуй, Сабро. *Снетовая мятка* (крупн.) Ильмень, Волхов. *Снет* Смол. *Снит*, *снят* (крупн.) Ильмень, Волхов. *Стойлый снет* (снеток, держащийся на одном месте) Псковско-Чудское оз. *Сухой снит* Ильмень, Волхов. *Толстый снет*, *толстяк* (крупн.), *ходовой снет* Псковско-Чудское оз.

Хариус (*Thymallus thymallus*). *Вандыш* (молодь).

Урал: Чердынь, Ныроб. *Гай-тус* КАССР. *Гарвис*, *гариус*, *гарьюз*, *гарюс* КАССР, Арх., Ильмень, Волхов, верхн. теч.



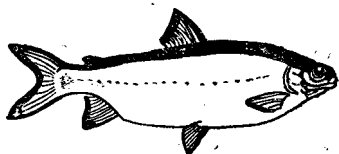
Волги. *Голландчик* Псковско-Чудское оз. *Горбач* Урал. *Жиган* (мелк.), *жиганец* р. Печора; Урал: рр. Лозьва, Колва, Березовая, Вишера, Унья, Кутема, Кама, Башкирия. *Кузнец* Онежское оз. *Отбор* (крупн.) Урал: рр. Лозьва, Колва, Березовая, Вишера, Печора, Унья. *Сёкот* (молодь) Арх.: р. Пинега. *Серьёз-рыба* Урал, Башкирия. *Сивец* Псковско-Чудское оз. *Сиз* верхн. теч. Волги. *Синец* Псковско-Чудское оз. *Улов* (до 30 см длины) средн. теч. Печоры; Урал: рр. Лозьва, Колва, Березовая, Вишера. *Хайруз* (с) КАССР, Новг., Урал: рр. Сылва, Уфа, Белая. *Харис* Урал. *Харлиз* Урал: рр. Миас. Урал. *Харлюс* Кир.: р. Вятка. *Харлюз* Урал: рр. Миасс, Урал. *Харуз* Ленингр., Новг., Урал. *Харьюз* КАССР, Арх., Ленингр., Пск. Новг. *Харюз* Арх., Ленингр., Пск., Урал. *Хорус* рр. Волга, Кама, Вишера, Колва.

Пыжьян (*Coregonus lavaretus pidschian*). *Полкур* Обь. *Пыжьян* как местное название на Печоре, Оби, Иртыше. *Сиз* рр. Печора, Томь, Енисей, Лена. *Сижок* р. Томь. *Сырок* Обь.

Восточносибирский и *й сиз* (*Coregonus lavaretus pidschian natio brachymystax*). Подвид, близкий к *пыжьяну*.

Беляк Лена. *Горбун* р. Анадырь. *Мокчегор* оз. Есей, р. Хатанга. *Сиз* Енисей, Лена, *Щокур* р. Колыма.

Чир (*Coregonus nasus*). *Вурункейка* (мелк.) р. Анадырь. *Макчугор*, *мокчегор* (крупн.) Енисей. *Подчирок* (мелк.) Енисей; Норильск.: оз. Мелкое. *Получир*, *получирок* (мелк.) р. Колыма. *Сиз* Енисей. *Сукр* Вост.-сиб. *урункейка*, *чир* р. Анадырь. *Чир* как местное название на Печоре, Мезени, Оби, Енисее, Хатанге, Колыме, Анадыре. *Щокур* рр. Обь,



верхн. теч. Печоры, Тобол, Ишим, Тавда, Иртыш. *Шукр* Обь. *Щокур* Обь.

Пелядь (*Coregonus peled*). *Баранетка* Якутия. *Мошколов* Сибирь. *Пеледь* рр. Мезень, Печора. *Пелига* Печора. *Пельдятка* Колыма. *Пелядка*, *пелядочка* Печора. *Пелядь* как местное название — Мезень, Печора, Енисей, Колыма. *Пелятка* Енисей, Колыма. *Пелять* верхн. теч. Печоры, Обь, Сыня, Сосьва. *Сырок* Обь, Иртыш, Тобол, Тавда, Тура, Конда.

Тугун (*Coregonus tugun*). *Манёрка* Сибирь: р. Томь. *Нельма*, *нельмушка* Урал. *Сосвинка*, *сосвинская сельдь* Урал: рр. Лозьва, Сосьва, Обь, Щучья. *Тогун*, *тугун*, *тугунец*, *тугунок* рр. Томь, Щучья, Обь, Иртыш, Томь, Енисей.

(Окончание в следующем номере)

Прочитайте детям

Вячеслав ПАНЬКИН



Рисунки
В. Толстоногова

САША И ПЕТУШОК

Саша шел, шел, шел,
И кошелку нашел.
А в кошелке мешок,
А в мешке Петушок...
Петушка несла лиса,
Через темные леса,
Но увидела лиса,
На дугу лежит коса,
А в сторонке от косы,
Распушив свои усы,
Отдыхает мужичок-старичок,
Подложив пиджачок
Под бочок.



Захотелось лисе покосить,
Над ленивым мужичком подшутить,
Ой, легохонько косою помашу,
Ой, скорехонько травы накошу!
И взялась косою помахивать,
Рыжим хвостиком потряхивать...
Мужичок храпит, покрякивает,
А коса ему поддакивает:
Чок-чок, мужичок.
Спи покренче, старичок!
Тимофеевка трава не низка —
Докошу-ка я лужок до леска!

А в лугах заливных благодать,
 И на небе облаков не видать...
 Косарю залез в усы паучок,
 Как чихнет сгоряча мужичок.
 Он протер глаза,
 Оглянулся вокруг —
 И не верит глазам:
 Косит кумушка луг!
 Как с испугу закричит
 Мужичок-старичок,
 И лиса как побежит
 От него наутек!
 Лишь не может убежать Петушок:
 Туго связан холщовый мешок.
 Никого нет вокруг, как назло...
 Вот ведь как Петушку не везло!..



Бабка деду испекла пирожок,
 И сказала: «Снеси-ка, Сашок!».
 Раз шажок, два шажок —
 По тропинке шагает Сашок,
 Но нигде косаря не видать,
 Не видать косаря, не слышать.

Саша шел, шел, шел
 И кошелку нашел.
 А в кошелке мешок,
 А в мешке Петушок...
 Развязал Саша мешок,
 И запел наш Петушок:
 Ку-ка-ре-ку-ре-ку-ку —
 Рад был Саша Петушку.
 Он принес его домой,
 Напоил его водой,
 Накормил Петушка пирожком,
 Подружился Сашок с Петушком.



Почта „Русской речи“



Рисунки В. Толстоногова

«Почему так по-разному изменяются похожие слова *котел* и *костел*: в котле, но в костеле?» — спрашивает читательница Л. И. Новожилова из Ленинграда.

В котле — в костеле

Слово *котел* в древности имело форму *котель*. Звуки, обозначаемые буквами *ѣ* и *ь* (так называемые редуцированные или глухие), в определенную эпоху претерпели серьезные изменения: в одних случаях перешли в *о* или *е*, в других исчезли. Эти процессы и привели к чередованиям в корнях слов: сон — сна (*сънѣ* — *сьна*), мох — мха (*мѣхъ* — *мѣха*), день — дня (*днь* — *днѣя*), орел — орла (*орьль* — *орьла*), костер — костра (*костьрь* — *костьяра*), котел — котла (*котель* — *котьяла*).

В тех словах, где *о* и *е* исконные, не восходящие к *ѣ* и *ь*, подобных чередований не происходит: топор — топора (*топорь*), бор — бора (*борь*), нос — носа (*нось*), сор — сора (*сорь*), вор — вора (*ворь*) и т. п. (В некоторых случаях, правда, под влиянием аналогии в языке закрепляется «незаконное» чередование: лед — льда (*ледь*).)

Так же склоняется и *костел* — *костела* (*костель*). Это слово иностранного происхождения. Из латинского *castellum* ‘укрепление’ оно проникло через германский и чешский в польский язык, а уже из польского в значении ‘церковь’ попало в русский.

Следует иметь в виду, что в заимствованиях, особенно поздних, часто не отражаются результаты старых звуковых изменений.

Г. Н. Склярская

Колготки и колготиться

Любой человек уже знает, что за вещь — колготки. А что значит слово? Откуда оно? Москвич В. С. Иванов спрашивает:

«С недавнего времени, так я полагаю, — раньше не слышал, появилось слово *колготки*, относящееся к части дамского туалета (вроде как рейтузы, связанные вместе с чулками). Что означает название, когда и как оно появилось, мне не известно. Недавно я читал книгу и в тексте встретил слово *колготиться* в смысле 'суетиться'. Как видно, это какое-то областное слово. Есть ли между словами *колготки* и *колготиться* какая-либо связь?».

О желании сблизить по значению эти сходно звучащие слова говорит как постановка самого вопроса, так и следующий пример «народной этимологии». Такую попытку объяснить происхождение, раскрыть внутреннюю форму слова и, исходя из этого, установить «правильное» произношение мы находим в материалах «Словаря народных говоров» (сообщение из Пензы, 1968 г.). Это очень характерный пример того, как возникают ложные этимологии:

«Слово *колготки* (чаще вопреки смыслу говорят *колготки*) — новообразование на основе старого диалектного глагола *колготиться* — делать какое-то нудное, мешкотное дело. В последние годы появились женские вязаные лыжные костюмы: брюки на помочах через плечо или совместно с фуфайкой, с застежкой „молнией“, либо на груди, либо на спине. Одежда типа комбинезона, которую надеть и снять одному человеку весьма трудно, неудобно и не всегда возможно, особенно если в этом есть срочная необходимость; говоря на пензенском диалектном языке, снимать такой костюм *ка(о)лготно*, отсюда и диалектное название его: *колготки*».

Как видим, неточное знание самой вещи, обозначаемой словом, и внешнее, звуковое сходство корней «помогли» так просто связать слова *колготки* и *колготиться* и по смыслу. Постараемся рассеять это заблуждение и предостеречь от опрометчивых суждений в других подобных случаях.

В сборнике «Вопросы культуры речи» (вып. 7, 1966) была помещена заметка Л. П. Калакуцкой о слове *колготки*. В ней отмечалось, что слово пришло к нам из чешского языка вместе с вещью (первые колготки появились у нас как предмет импорта из Чехословакии, по-чешски — *punčoškovy kalhotky*) совсем недавно и стало употребляться в русском языке вместо описательных форм: штаны-чулки, штанишки с чулочками, штаны с ногами, рейтузы с носочками (или со следом) и т. п.

В 60-е годы заимствованное слово еще только осваивалось русским языком, не было единого ударения и написания: одни произносили *колготки*, другие — *колготки*, писали и *колготки*, и *калготки*, и *колгодки*. И поэтому Л. П. Калакуцкая заканчивает свою статью так: «Каким будет результат этого освоения, когда слово сможет войти в орфографический, орфоэпический и другие словари, сказать пока трудно». С момента опубликования заметки прошло пять лет. За это время сама вещь получила в быту широкое распространение, а название ее уже освоено русским языком. Закрепилось одно ударение и написание, слово помещено в словари русского языка: «Орфографический словарь русского языка» (М., 1969); «Словарь новых слов и значений» (М., 1971).



Из Орфографического словаря читатель узнает правильное написание и ударение — *колготки* и форму родительного падежа — *колготок*, то есть как ботинок — *ботинок*; а из «Словаря новых слов и значений», помимо этих сведений — значение слова — «женские или детские трикотажные штаны и чулки, образующие одно целое».

Итак, слово заимствовано, вошло в русский язык. Но оно вообще новое, так как только в русском языке это, отдельно взятое слово означает «штаны и чулки, образующие одно целое».

небезынтересно будет ближе познакомиться с его историей. И здесь мы обнаруживаем, что история этого слова таит в себе много неожиданного и интересного. Обратившись к этимологии данного чешского слова, мы можем восстановить картину того, как менялся характер и вид одежды, обуви наших предков-праславян, как отразилось их общение с другими народами Европы.

Предмет, который по-русски называется *колготки*, в чешском носит описательное название *punčoškovy kalhotky*, дословный перевод — «чулочковое трико (штанишки)». В чешском *kalhotky* (образовано с помощью уменьшительного суффикса *-k* от слова *kalhoty* «мужские брюки, штаны») называются детские штанишки и женские трико. Но и для чешского языка это слово оказывается, хотя и очень давним, но тоже заимствованным.

Одеждой, распространенной у всех праславян, были короткие, широкие полотняные, белого цвета штаны, название которых восходит к общему корню: у чехов это *haše*, моравов — *gatě*, поляков — *gacie*, русских и украинцев — гачи, гащи (этот же корень в словах *гашик* и *загашик*).

Штаны же длинные и узкие, обычно из шерстяной ткани, в давние времена были чуждым веянием южной и западной моды. Их старочешское название *gali(h)oty* (*halioty*, *kaliboty*) появилось, вероятно, путем перенесения названия иной одежды, скорее обуви; исследователи выводят его из итальянского **caligotte*. Первоначально это были две отдельные ноговицы — не то штанина, не то чулок. В польском языке *galoty* (*gallioty*), заимствованное из чешского, и сейчас еще в диалектах наряду со значением «штаны» имеют значение «штанина» и «чулок». Унаследованное название позволяет думать, что такая обувь, вроде сапога из теплой ткани, была усовершенствованием обуви римских воинов, простолюдинов и погонщиков мулов — латинское *caliga*. Калиги состояли из подошвы и длинных полос кожи, которые обертывались вокруг ступни и щиколотки.

Позже, в средние века, так же назывались подвязывавшиеся к ногам сандалии, которые послали западные странники — пилигримы. В этом значении слово было известно в Древней Руси, и его мы узнаем в образном русском выражении *калика переходжий* и в нашем современном *калека*. Название тех-то сапог-ноговиц, которое пришло на смену и по следу калиг римских легионеров, и было

перенесено чехами на узкие и длинные средневековые штаны, нареченные ими *kalhöity*. Из чешского это название было заимствовано польским, венгерским и другими языками. Так по страницам словарей, отправившись искать происхождение слова, мы проследили историю вещи — от римских *кализ* до чешских *колгот*, вплоть до удобного их сочетания, закрепленного в значении уже русского слова *колготки*.

Если слово *колготки* является новым, а происхождение и развитие его значения выходит за пределы славянских языков, то *колготиться* (*калгатиться*) в значении 'суетиться, беспокоиться' было известно в русском языке еще в XIX веке. В. И. Даль включил в Толковый словарь услышанные им в Тамбовской губернии слова: *калгатиться*, *колготать*, *колготный*, *колготун*, *колготунья*, *колготуша*.

В русских народных говорах *колгота*, *колготня* употребляется в значении 'суета, возня, суматоха, беспокойство, хлопоты'; *колготать* — 'ворчать, спорить, вздорить, брюзжать'; *колготиться* — 'суетиться, тревожиться, возиться, хлопотать'. Слова эти часто употребляются в живой и образной народной речи и всем понятны. Тем не менее проследить происхождение и значение корня этих русских слов труднее, как и других областных слов, особенно эмоционально окрашенных.

Сопоставляя фонетические варианты слова *колготиться* и других (в разных говорах и разных местностях произносится по-разному — то *колготиться*, то *голготиться*), а также учитывая то, что часто оно означает 'кричать, гоготать', можно высказать предположение, что в основе его находится звукоподражательный корень *голготать*, *гоготать*. Первоначально *гоготать*, *голготать*, *колготать*, *колготня* употреблялись для передачи шумного и бестолкового птичьего гогота и гомона. Все чаще затем эти слова выступают как меткая характеристика шумной возни и бестолковой суеты других животных и человека (вариант со звуком *к* постепенно вытесняет другие, особенно когда речь идет о человеке). Отсюда скрытая в слове образность, придающая ему эмоциональную и художественную выразительность. Поэтому эти областные слова получают широкое распространение и в языке художественной литературы, так как писатели вводят их в текст с особым стилистическим заданием. Приведем несколько примеров:

«— Всю ночь фрицы колготились, шумели, железом каким-то брякали. Часть, видно сменилась» (Чузаков. Чижик — птичка с характером); «Бог с ним, бог с ним! — крестилась Степаниха. — Колготной был мужик... Без него спокойнее» (Носов. Где просыпается солнце); «Посадят его в вагон задолго до общей колготни ребята, займет он самую спокойную третью полочку» (Конюшев. Двенадцать налочек на зеленой траве).



бы), двусоставное (предложение), двустопный (ямб), двууглекислый (газ), двуокись, диполь, двустипные, двучлен и т. д.; 2) в книжных словах — двукратный, двучленный, двурушник, двусмысленный и другие.

В словах обиходных, разговорных — *двух*—: двухдверный, двухкомнатный, двухколесный, двухструнный и т. д. Более поздняя и современная тенденция оказывает предпочтение сложениям с *двух*—, независимо от стилистической принадлежности слов: двухламповый, двухфазный, двухзональный. Благодаря этому и у слов давнего происхождения с первой частью *дву*— возникли более поздние варианты с *двух*— (двулетний и двухлетний, двускатный и двухскатный, двугодичный и двухгодичный), в том числе и у терминов: двутавровая (балка) и двухтавровая, двучленный и двухчленный и т. д.

В словах, корень которых начинается с гласного, и в прошлом и сейчас употребляется, как правило, *двух*—, во избежание стечения гласных. Однако общей фонетико-орфоэпической закономерности нет. Это правило также остается только тенденцией, о чем свидетельствуют примеры из терминологии: двуутробка, двууглекислый и другие.

Таким образом, во всех трудных случаях за разрешением сомнений следует прибегать к помощи словарей. Случается, правда, что и показания словарей не совпадают. Это и есть объективное отражение существующих колебаний в нормах словоупотребления.

Е. Н. Толикина

Три «почему?»

1. Почему в слове *бессребреник* пишется одно *н*?
2. Почему слово *крупеник* пишется с *е*, а не с *я*? Каков состав этого слова?
3. Почему слово *общественно* пишется раздельно в следующих случаях: общественно полезный; общественно опасный; общественно необходимый; общественно производительный?

В. И. Солбанова
Ишим Тюменской области

Бессребреник

Бессребреник — очень старое слово. Оно отмечено в «Материалах для Словаря древнерусского языка» И. И. Срезневского, первоначально означало 'безвозмездно трудящийся'.

Постепенно оно утратило прямое значение и получило переносное; в современном языке употребляется для характеристики бескорыстного человека: «Обществу известны светлые образы самоотверженных врачей-бессребреников, и такими оно хочет видеть всех врачей» (Вересаев. Записки врача).

Возможны два способа образования существительных такого рода: присоединением суффикса *-ик* к основе прилагательного или суффикса *-ник* к основе существительного. Более вероятно, что слово *бессребреник* образовалось присоединением приставки *без-* и сложного суффикса *-еник* к основе существительного *сребро* (означавшего не только благородный металл, но и серебряную монету): во-первых, в русском языке нет и не было прилагательного *бессребряный*; во-вторых, прилагательное *сребряный* — производное от существительного; в-третьих, в русском языке есть другие однокоренные слова, образованные от существительных *сребро* и *серебро*: антонимы к *бессребреник* — сложные слова *сребролюбивый* и *сребролюбец*, *сребреник* (в древнерусском языке — серебряная монета или деньги вообще), *сребреник* (раньше — серебряных дел мастер), *серебрить* (покрывать тончайшим слоем серебра).

Но если даже предположить, что *бессребреник* образовалось от прилагательного, то и тогда нет оснований писать это слово с двумя *н*. В этом случае к основе прилагательного *сребрен-* присоединился бы суффикс *-ик*, и второму *н* все равно неоткуда взяться. *Бессребреник* по своему образованию подобно многим другим словам русского языка, обозначающим лицо по какому-нибудь свойству, признаку, связанному с отношением к предмету, занятию, кругу деятельности. Оно стоит в ряду таких слов: *бесстыдник*, *безбожник*, *шкурник*, *неудачник*, *завистник*, *путник*, *раскольник* и т. д.



Слово *крупеник* пришло в современный русский литературный язык из народных говоров. Там оно встречается в разных значениях. В новгородских говорах это 'крутая каша', иногда — 'крутая, почти рассыпчатая каша из овсяной крупы', а также 'каша, запеченная на молоке и яйцах, иногда с изюмом, сахаром'; в других говорах это 'пирог с кашей, пирог с овсяной крупой'. Различно также произношение и ударение в слове. Иногда оно произносится с ударением на последнем слоге и с *e* в середине

слова: *крупени́к*, иногда *крупéник*, встречается *крупяни́к*, *крупя́ник* и даже *крупéйник*.

В говорах имеются другие слова с корнем *круп-* с тем же или близким значением: *крупеница*, *крупянка* — 'каша'; *крупенка* — 'похлебка из круп'; *крупеня* — 'похлебка с картошкой и овсяной крупой'; *крупеня* и *крупеня* — 'жидкая каша'; *крупень* — 'суп с крупой'. В литературный язык вошло слово *крупеник*, употребляющееся в основном в значении 'род каши (обычно гречневой), запеченной с творогом и яйцами'. В меню столовых можно встретить название такого блюда. Закрепившееся написание слова через *e* объясняется тем, что его производят от основы существительного *крупя* (а не от прилагательного *крупяной*).

*Общественно...
полезный*

Из Орфографического словаря русского языка мы узнаем, что слова с наречием *общественно* пишутся то отдельно, то через дефис. Слова, образованные на первый взгляд по-

добным образом: *народнохозяйственный*, *естественнонаучный*, *сложноподчиненный* — пишутся слитно. Чем объясняется такой «разнобой» в написании?

Не следует смешивать сложные прилагательные с обычными сочетаниями, состоящими из наречий и прилагательных (или причастий). В отличие от сложных прилагательных, пишущихся слитно или через дефис в зависимости от способа их образования, словосочетания, состоящие из наречия и прилагательного (причастия), пишутся раздельно. Поэтому при решении вопроса о слитном или раздельном написании какого-то слова с прилагательным прежде всего надо определить, входит это слово в состав сложного прилагательного или является самостоятельным членом предложения. В том случае, если наречие — самостоятельный член предложения, оно отвечает на вопросы: как? каким образом? в какой степени? в какой мере? в каком отношении? Если стоящее перед именем прилагательным слово не отвечает ни на один из этих вопросов, можно с уверенностью сказать, что оно в сочетании с прилагательным образует сложное слово и пишется слитно или через дефис (но не раздельно): водопроводный, сеноуборочный, железнодорожный, народнодемократический, сельскохозяйственный, общественно-политический, партийно-комсомольский, сине-зеленый.

Сложнее определить раздельное или слитное написание слов, когда стоящее перед прилагательным слово — наречие и отвечает на один из перечисленных выше вопросов. Особая трудность заключается в том, что одни и те же наречия можно писать и слитно и раздельно с прилагательными (причастиями): сильнодействующее средство, но лекарство, сильно действующее на больного; госпиталь для тяжелораненых, но тяжело раненный под Калугой боец; скоропортящиеся продукты, но продукты, скоро портящиеся под южным солнцем.

Чтобы не смешивать наречий, являющихся самостоятельными членами предложения, с наречиями, входящими в состав сложных прилагательных, нужно помнить, что последние в сочетании с прилагательными образуют единое понятие, сливаются в одно слово, причем в некоторых случаях первая или вторая части такого сложного слова не употребляются самостоятельно: свежевыкрашенный, общепринятый, труднопроходимый и другие. К сложным прилагательным относятся слова, близкие по своему характеру к терминам: дикорастущий, мелкозернистый, малонаселенный.

В качестве практического приема при различении

слитного или раздельного написания наречия с прилагательным (причастием) можно рекомендовать перестановку местами наречия и прилагательного (причастия), а также добавление слова *очень* перед наречием или между наречием и прилагательным (причастием): наречия, являющиеся в предложении самостоятельными членами, допускают подобную перестановку и подстановку. В отличие от них наречия, входящие в состав сложных прилагательных, имеют строго закрепленное за собой место непосредственно перед прилагательным.

Раздельное написание интересующих нашего читателя слов *общественно полезный*, *общественно опасный*, *общественно необходимый* и *общественно производительный* объясняется тем, что эти слова рассматриваются как свободные словосочетания, состоящие из наречия *общественно* и прилагательных *полезный*, *опасный*, *необходимый* и *производительный* (в отличие от слов *общественно-экономический*, *общественно-политический*, *народнохозяйственный*, *естественнонаучный*, являющихся сложными прилагательными). В самом деле, к слову *общественно* можно поставить вопрос «в каком отношении?», а между наречием *общественно* и следующими за ним прилагательными можно поставить слово *очень*. Не исключена возможность, что в дальнейшем написание слова *общественно* с прилагательными изменится на слитное. Это может произойти в случае большей терминологизации этих словосочетаний.

Л. Алекторова



В журнале «За рубежом» (1969, № 51) в статье о «Химических формулах сознания» несколько раз написано: «в мозге». Правильно ли это? — спрашивает москвич А. Б. Тимофеев. — До сих пор я всегда писал и говорил *в мозгу*, но начал сомневаться в правильности этого под влиянием авторитета органа Союза журналистов».

В современном русском языке многие существительные мужского рода, по преимуществу односложные, имеют параллельные окончания в предложном падеже единственного числа — *-у* (*ю*) и *-е*: в краю — в крае, на краю

ку — на крюке, на мысу — на мысе, в стогу — в стоге, в квасу — в квасе, в соку — в соке, в чаю — в чае, в мозгу — в мозге; в отпуску — в отпуске, на холоду — в холоде и т. д.

Такие окончания получают слова, как правило, обозначающие пространство, место (мыс, хлев, цех, чан, крюк), а также слова, обозначающие вещество или массу (мозг, чай, квас), отрезок времени (отпуск).

В современном языке эти две исторически сложившиеся формы либо используются как параллельные, не сообщающие слову ни смысловых, ни стилистических различий, либо могут быть основанием для различения оттенков смысла, значения слова, а в ряде случаев придают слову стилистическую окраску. Выбор той или иной формы определяется, с одной стороны, значением слова при данном конкретном его использовании, а с другой — условиями его употребления, стилем речи.

Так, форма *в цеху*, будучи стилистически сниженной, уместна в разговорной речи, в то время как *в цехе* используется в любом контексте: «В цеху шесть пролетов, и в каждом пролете мотор» (Вс. Иванов. Пархоменко).

Что касается соотношения *в мозгу* и *в мозге*, то оно несколько иное. Различие этих форм не определяется только характером их жанрово-стилистического использования: *в мозгу* — в разговорной, а *в мозге* — в книжной речи. Здесь следует помнить о том, что каждая форма выражает одно из значений слова *мозг*. В названной читателем статье это слово имеет значение «центральный отдел нервной системы человека и животных — вещество, заполняющее череп и канал позвоночника»: «В руках биохимиков оказались ключи к разгадке тех химических изменений, которые могли происходить в мозге при депрессиях». Здесь нормативной будет форма *в мозге*, а не *в мозгу*, которая употребляется при выражении другого значения этого слова; — «ум, умственные способности». Например: «Я пишу картину как портрет — передо мною, в мозгу, ясна сцена со всеми аксессуарами и освещением, и я должен скопировать» (Крамской. Письмо И. Е. Репину).

П. И. Павленко

Именительный, родительный



Читатель Ю. Сапаев из Нукуса просит рассказать о происхождении названий падежей русского языка.

Первые грамматические сведения вслед за письменностью попали на Русь с началом просвещения из Византии. В то время на громадном пространстве славянского мира существовал единый письменный (церковнославянский) язык. Для возможности пользования книгами, написанными в разных частях этой территории, было необходимо следить за чистотой и правильностью этого языка, то есть проводить нормализаторскую работу, существенной частью которой является грамматическая деятельность.

В начале XIV века из различных греческих грамматических трактатов было составлено в Сербии сочинение «О восьми частях слова» (то есть «речи»). В соответствии с греческой системой для церковнославянского языка определяется пять падежей. Названия их, так же как и само слово *падеж* (или *падение*), были образованы путем калькирования (буквального перевода слова по частям) соответствующих греческих терминов.

Само слово *падеж* (греческое *ptōsis*) обозначало изменение окончания, благодаря которому слово становится в определенные отношения к другим словам. В сочинении «О восьми частях слова» эти отношения представляются следующим образом.

Падеж **п р а в ы й** (позже — именительный) калькирует греческое *orthē* (ср. орфография — *правописание*) и дает правильную или, как мы теперь говорим, исходную форму слова. Филолог XVI века Максим Грек называл этот падеж **п р я м ы м**. Все остальные падежные формы являются по отношению к нему **к о с в е н н ы м и** (или

носими — греческое *plagiai*), так как они клоняются, то есть отклоняются от него. Современный термин *склонение* появляется в XVI веке, представляя собою кальку с латинского *declinatio*, а не с греческого *klisis*, так как приставка *с-* передает латинское *de-*.

Вторым падежом в трактате называется *родный* (греческое *genikē*, ср.: генеалогия, гепетика), одна из функций которого — обозначение рода, происхождения, отнесение предмета к классу подобных (подарок брата, произведение искусства).

Дательный падеж (греческое *dotikē*) назван так по одной из своих функций, связанной с глаголом *дать*, *давать*.

Название *виновный* падеж (греческое *aitiatikē*) образовано от слова *вина* (греческое *aitia*), имевшего в древности значение 'причина', и рассматривался как падеж обозначения причины того или иного действия (ловить бабочку).

Пятый падеж — *звательный* (греческое *klētikē*), который употреблялся при обращении. В современном языке от него остались самые незначительные следы в виде форм *старче*, *отче*, *друзе*, а его функции выполняет *именительный*.

Как видно, греческая система пяти падежей лишь в весьма малой степени удовлетворяла потребностям изучения славянских языков: ведь в ней не находилось места для форм творительного и предложного.

В начале XVI века посольский переводчик Дмитрий Герасимов перевел популярный в Европе трактат латинского грамматика IV века Доната. Здесь впервые появляется термин *именительное падение*, с пояснением «*правое по-гречески*», который явился калькой латинского *nominativus*. Остальные падежи имеют прежние названия, так как сами латинские термины были кальками тех же греческих наименований падежей.

Важным отличием латинской системы было, однако, то, что в ней содержался еще один падеж, не известный греческому: *ablativus*. Дмитрий Герасимов назвал его *отрицательное падение* и снабдил примером: «от сего учителя». Надо сказать, что приведенным значением,

называемым теперь отложительным, не исчерпываются функции этого падежа: другим своим значением он соответствует нашему творительному падежу. Не случайно, быть может, поэтому в списке «Донатуса» (так назывался этот трактат на Руси) отрицательное падение поясняется примером «пред свидетели» (перед свидетелями), откуда уже было недалеко до выделения творительного падежа.

И действительно, довольно скоро в Грамматике Лаврентия Зизания (1596) появляется для обозначения подобных славянских форм творительный падеж (слово *падение* к тому времени вышло из употребления). В словаре, приложенном к Грамматике, слово *творец* объясняется 'творитель, работник, автор', и, таким образом, функцией выделенного падежа определялось указание на деятеля, производителя действия. Предложного падежа Лаврентий Зизаний не выделяет и его формы помещает под рубрикой дательного.

Проникновение в славянский мир латинской грамматической традиции имело то положительное значение, что не позволило абсолютизировать греческую систему пяти падежей и заставило обратиться к внимательному изучению фактов родного языка.

Вышедшая в 1619 году грамматика Мелетия Смотрицкого ввела в употребление недостающий седьмой падеж — сказательный. О новом термине здесь говорилось: «Сказательный есть, имже сказуем, яко: о человеце», то есть название падежа выводилось из таких случаев его употребления, как «сказать о ком-л., чем-л.». Наименованиям других падежей М. Смотрицкий придает ту форму, которая сохранилась за ними до сих пор.

Наконец, М. В. Ломоносов в «Российской грамматике» заменяет сказательный на предложный, обратив внимание на то, что формы этого падежа употребляются исключительно с предлогами. Грамматика Ломоносова была первая, имевшая дело с русским языком (что показывает и ее название), тогда как все предшествовавшие изучали факты языка церковнославянского. Однако Ломоносов не решился исключить из числа падежей звательный, формы которого действительно существовали как в греческом и латыни, так и в церковнославянском, но были совершенно чужды русскому языку задолго до XVIII века. Он был исключен в позднейших грамматических трудах.

русского языка. Подробнее об истории русской грамматической терминологии можно прочитать в книге профессора П. С. Кузнецова «У истоков русской грамматической мысли» (М., 1958).

А. А. Алексеев

Поправка. В № 4, 1971 по вине редакции допущена ошибка: на стр. 123 неправильно указано на балтийский источник для слова *деревня*. Это слово не заимствованное, хотя исконное русское *деревня* и литовское *dirvã* связаны по происхождению (из одного и того же корня).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. И. БОРКОВСКИЙ (главный редактор),
В. А. БЕЛОШАПКОВА, Е. А. ВАСИЛЕВСКАЯ, В. П. ВОМПЕРСКИЙ,
В. Я. ДЕРЯГИН (ответственный секретарь), И. Г. ДОБРОДОМОВ,
Л. М. ЛЕОНОВ, А. И. ОВЧАРЕНКО, И. Ф. ПРОТЧЕНКО (зам. главного редактора), Л. И. СКВОРЦОВ, Ю. С. СОРОКИН,
Ф. П. ФИЛИН, Н. Ю. ШВЕДОВА

Адрес редакции: Москва Г-19, Волхонка, 18/2. Телефон: 202-65-25
Зав. редакцией *И. М. Беспалова*

Художественно-технический редактор *Т. А. Михайлова*

Корректоры *Н. Н. Глаголева, Н. М. Кузьмина*

Сдано в набор 12/VI—1971 г. Т-13070 Подписано к печати 19/VIII—1971 г.
Тираж 80 000 экз. Формат бумаги 84×108/32 Усл. печ. л. 8,4
Бум. л. 2,5 Уч.-изд. листов 9,1 Зак. 2481

2-я типография издательства «Наука», Москва, Шубинский пер., 10